Станислав Игнаций Виткевич

1885—1939

**САПОЖНИКИ**

*Научная пьеса с «куплетами» в трёх действиях*

Посвящается Стефану Шуману

Действующие лица

С а е т а н  Т е м п е — сапожных дел мастер; редкая клочковатая бороденка, усы. Седеющий блондин. В обычной сапожницкой одежде, при фартуке. Около 60 лет.

П о д м а с т е р ь я: I (Юзек) и II (Ендрек). Молодые мужички-сапожнички. Очень даже ничего, прямо хоть куда. Одеты по-сапожничьи, в фартуках. Обоим лет по 20.

К н я г и н я  И р и н а  В с е в о л о д о в н а  Р а з б л у д н и ц к а я - П о д б е р е з с к а я — очень красивая шатенка, необычайно мила и соблазнительна. На вид лет 27-28.

П р о к у р о р  Р о б е р т  С к у р в и — широкое лицо, словно из кровяной колбасы, инкрустировано голубыми, как пуговки от кальсон, глазами. Мощные челюсти — готовы, кажется, стереть в порошок хоть глыбу гранита. Костюм с жакетом, котелок. Трость с золотым набалдашником (très démodé[77]). Широкий белый завязанный узлом галстук с огромной жемчужиной.

Л а к е й  К н я г и н и — Ф е р д у с е́ н к о — слегка похож на манекен. Красная ливрея с золотым позументом. Коротенькая красная пелерина. Треуголка.

Г и п е р - Р а б о т я г а — в рубахе и картузе. Выбрит, широкоскул. В руках колоссальный медный термос.

Д в о е  С а н о в н и к о в — Т о в а р и щ  А б р а м о в с к и й  и  Т о в а р и щ  И к с. С иголочки одетые люди в штатском, высокоинтеллигентные и вообще высокого полета. Икс гладко выбрит, Абрамовский — с бородой и усами.

Ю з е ф  Т е м п е — сын Саетана, примерно 20 лет.

К р е с т ь я н е: с т а р ы й  М у ж и к, м о л о д о й  М у ж и ч о к  и  Д е в к а. В галицийских (краковских) костюмах.

О х р а н н и ц а — хорошенькая молодая девчонка. Передничек на мундирчике.

Х о х о л — соломенный Сноп из «Свадьбы» Выспянского.

О х р а н н и к — просто парень что надо, в зеленой униформе.

[Е г о  С у п е р б р а в е й ш е с т в о  Г е н е р а л  Г н э м б о н  П у ч и м о р д а.]

**Действие I**

Сцена представляет сапожную мастерскую (может быть устроена самым фантастическим образом), размещенную в небольшом полусферическом пространстве. Слева треугольник, задрапированный портьерой вишневого цвета. В центре треугольник серой стены с кругловатым окошком. Справа высохший кривой ствол дерева — между деревом и стеной треугольник неба. В глубине справа — далекий горизонт с городишками на равнине. Мастерская расположена высоко над долиной, как если б она находилась на вершине горы. С а е т а н — в центре, по бокам — двое  П о д м а с т е р ь е в: I слева, II справа; все трудятся. Доносится отдаленный гул — то ли автомобилей, то ли черт его знает чего еще и рев заводских гудков.

С а е т а н (стуча молотком по какому-то башмаку). Хватит чушь молоть! И-эх! И-эх! Куй подошвы! Куй подошвы! Гни твердую кожу, ломай пальцы! А, к черту — хватит чушь молоть! Туфельки для княгини! И только я, скиталец вечный, всегда прикован к месту. И-эх! Куй подошвы для этих стерв! Хватит чушь молоть — хватит!

I  П о д м а с т е р ь е (прерывает его). А вот хватило бы у вас смелости убить ее?

I I  П о д м а с т е р ь е  перестает ковать подошвы и чутко прислушивается.

С а е т а н. Раньше да — теперь нет! И-э-хх! (Взмахивает молотком.)

I I  П о д м а с т е р ь е. Да перестаньте вы все время и-эхать — меня раздражает.

С а е т а н. А меня еще больше раздражает, что я для них башмаки тачаю. Я, который мог бы стать президентом, королем толпы — пусть хоть на миг, хоть на минуту. Лампионы, гирлянды разноцветных фонарей, слова, порхающие над фонарями людских голов, а у меня, убогой, грязной рвани солнце в груди сияет — как золотой щит Гелиодора, как сто Альдебаранов и Вег, — эх, не умею я говорить. И-эх! (Взмахивает молотком.)

I  П о д м а с т е р ь е. Почему не умеете?

С а е т а н. Не давали. И-эх! Боялись.

I I  П о д м а с т е р ь е. Еще раз скажете «и-эх», бросаю работу и ухожу. Вы представить не можете, как меня это бесит. À propos — кто такой Гелиодор?

С а е т а н. Какой-то фиктивный персонаж, а может, это я его выдумал — я уж и сам ничего не знаю. И так без конца. Хоть на минутку бы... Не верю я уже ни в какую революцию. Слово-то само какое мерзкое — быдто таракан, не то прусак или вошь. Куда ни кинь — все против нас оборачивается. Мы — навоз, такой же, как все эти древние короли или интеллигенты для тотемного клана — навоз!

I I  П о д м а с т е р ь е. Хорошо, что вы не сказали «и-эх» — а то б я вас убил. Навоз-то навозом, но жилось им неплохо. Ихние-то девки, стурба их сучара драная, блярва их фать запрелая, не смердели так, как наши. О Господи Иисусе!

С а е т а н. До того весь мир испохабился, что уж и говорить-то ни о чем не стоит. Гибнет оно, человечество, и-эх, гибнет, пораженное раком капитала, под гнетом его разлагающейся туши, а на ней, аки волдыри зловонные, набухают и лопаются гнойники фашистских режимов, испуская смрадные газы загнившей в собственном соку безликой людской массы. И нечего туг болтать. Все выговорено дотла. Остается ждать, когда все свершится, и делать кто что может. Или мы не люди? А может, люди — только они, а мы всего лишь грязное быдло с такими, знаете ли, о Боже праведный, эпифеноменами — вторичными придатками, чтоб еще больше мучиться и выть им на забаву. И-эх! И-эх! (Лупит молотком куда попало.) А уж они-то наверняка так думают, все эти брюханы засигаренные, истекающие склизким коктейлем из ихних наслаждений и наших смердящих безнадежных мук. И-эх! И-эх!

I I  П о д м а с т е р ь е. До чего ж вы это все премудро изрекли — даже ваше гнусное «и-эх» меня на этот раз не покоробило. Я вас прощаю. Но больше никогда так не делайте — не дай вам Бог.

С а е т а н (не обращая на него внимания). А хуже всего, что работа не кончится никогда — ведь эта сучья мать социальная махина, она же вспять не повернет. И одна только радость, что все как один мерзавец будут до беспамятства, до одури пахать — так, что не останется даже этих бездельников...

I  П о д м а с т е р ь е (догадливо). На высших контрольных должностях?

С а е т а н. А ты как думал, браток? И-эх! Но как сравнить два человеческих мозга? Даже нет, не сравнить — хотя и это трудно, — а уравнять. Так вот — маленькая неприятность: они будут работать так же, как мы. Сейчас у этой сволоты слишком много радостей — пока еще существует творчество, — и-эх! А я ведь тоже мог бы новый фасон придумать, хотя нет, это уже не то — нет. Не то! не то! (Заливается слезами.)

I  П о д м а с т е р ь е. Бедный мастер! Ему вишь хочется, и чтоб работа была механической, и чтоб дух эту механику одухотворял, как у тех старинных музыкантов да художников, что своими выделениями себя так уникально самовыражали. Я что, белиберду несу?

I I  П о д м а с т е р ь е. Да нет, только как-то не по-нашему. Я бы все это сказал по-свойски. Но может, не стоит? (Пауза; никто его не просит. Он тем не менее продолжает.) Неприятная пауза. Никто меня не просит. Однако говорить я буду, потому как мне охота и удержу нет никакого. Наверняка нынче опять заявится эта княгиня со своим прокурористым псом и тоже начнет болтать — нами дырки сверлить в метафизических пупках, как енти бла-ародные господа называют у себя те конфетки, что у нас были и останутся зудящими язвами. Противоречий этих никакими силами не примирить — вот оно, то самое, то ись те самые, сакра ихняя сучара, аристокрачьи выворотни, что они своими метафизическими переживаниями именуют, — щекочут себе ими раскормленное брюхо, и каждый такой щёкот у зажравшейся скотины — нам, как острый нож в кишках. Я, того, хотел сказать, и я скажу: жить и умереть, сжаться в булавочную головку и объять собой весь мир, напыжиться и обратиться в прах... (Внезапная пустота в башке не позволяет ему продолжать.) Ничего я больше не скажу — в башке вдруг стало пусто, как в амбаре, не то на гумне.

I  П о д м а с т е р ь е. Да — не шибко вы надорвались в этом своем спиче через «эс», «пе» и «че». Видите ли, Ендрек, я знаком с теорией Кречмера по лекциям этой интеллектуальной лафиринды Загорской в нашем Свободном Рабочем Университете. Ох, свободный-то он, свободный — да свободен-то он от запора, этот наш слабительный Университетик. Сами-то они угощаются твердым кормом знаний, а на нас изливают свой умственный понос, чтоб нас еще сильнее задурить, чем все эти религиозники, которые дурака валяли на службе феодализма и тяжелой индустрии. Я вам, Ендрек, заявляю: это психология шизоидов. Но не все такие, как они. Это вымирающая раса. На свете все больше людей пикнического типа. Все ихнее — и радиво, и глядиво, и кино, и домино, и сытое брюхо, и мытое ухо, все у них как надоть — ну дак чё ещё-то? А сами они — падаль гнусная, гуано безмятежное, преотвратное. Вот те и пикнический тип, ясно? А этакий, гля, собой недовольный, он же тока сумбур на свете разводит, и все это — чтоб самого себя в своих глазах возвысить и себе же показаться лучше, чем есть, — не быть, а тока показаться, и не лучше, а тока эдаким, значит, что мол лучше некуда, и всем дескать на зависть. И уж с таким-то вывертом этот тип перед самим собой ломается. (После паузы.) А я вот даже сам не знаю, какой я тип — пикнический или шизоидный?

С а е т а н (твердо; лупит молотком по сапожной колодке или чему-то вроде). И-эх! И-эх! Болтаете тут, а жизнь проходит. Как бы я хотел ихних девок дефлорировать, девергондировать, насладиться ими, jus primae noctis[78] над ними осуществить, на ихних перинах всласть выспаться, до блевоты их жратвой нажраться, а потом потусторонним ихним духом захлебнуться — но не под них подделываться, а создать всё лучше прежнего: и даже новую религию — пускай всем на посмешище, и новые картины, и симфонии, и поемы, и машины, и новехонькую, прелестную, в аккурат как моя Ганнуся... (Обрывает фразу.) И-эх! — не буду: на ихнем языке это кощунством прозывается. (Резко.) А что есть у меня? Что я со всего этого имею??

I I  П о д м а с т е р ь е. Тише вы!..

С а е т а н. Чего там тише — тоже мне, фраер! И-эх! И-эх! И-эх! И-эх! И-эх! И-эх! (Колотит молотком.) Сын примкнул к этим самым — мерзко называемым «Бравым Ребятам». Якобы — организация тех, кому подавай всё сразу; но не большевики, потому как интеллигенцию они употребить желают, и никого не убивать — разве что в крайнем случае, когда иначе нельзя. И-эх!

Справа входит прокурор  С к у р в и. Цилиндр. Зонтик. Костюм с жакетом. В светло-перчаточных руках желтые цветы.

С к у р в и. Как это: никого не убивать — «разве что когда иначе нельзя». Никогда нельзя, а всегда нужно — вот как. Хе-хе.

I I  П о д м а с т е р ь е. А этот — «хе-хе»! Один — «и-эх», другой — «хе-хе»: невыносимо. (Яростно накидывается на неестественно-огромный, просто гигантский офицерский сапог, который вытащил из левого, заваленного рухлядью угла. Скурви смотрит на него выжидающе, с ухмылкой. Через мгновенье II Подмастерье отчаянно вопит.) Не хочу я работать за гроши! Не буду работать! Пустите меня!

С к у р в и (холодно; ухмылки как не бывало). Хе-хе. Путь свободен. Можете идти и сдохнуть под забором. Только труд дает свободу.

С а е т а н. Да, но сам-то ты работаешь, сидя в кресле, покуривая дорогие «папирусы», жрешь чего хочешь. «Работник умственного труда». Поганец! Однако и чувственного труда тоже — и-эх! (Дико хохочет.)

С к у р в и. Вы что же, Саетан, полагаете — когда-нибудь будет иначе? Неужели вы и вправду думаете, что все будут механизированы и подогнаны под стандарт физического труда? Ну уж нет — всегда останутся директора и высшие чиновники, которые будут вынуждены даже питаться иначе, чем фабричные мастеровые, так как умственный труд требует особых элементов мозга — мозга и еды.

II Подмастерье плачет.

С а е т а н. И-эх! — но они-то будут питаться соответствующими препаратами без вкуса и запаха, а не лангустами и хлюстрицами, как ты, прокурор верховного суда по разрешению социальных конфликтов между трудом и капиталом. Ты, кастрат элитарный! В нынешние времена фашиствующих синдикалистов вроде моего сыночка ты еще можешь существовать, как солитёр во чреве этого развратного бандюги — загнивающего высшего общества. Но когда подлинные синдикалисты уничтожат государство как таковое, такие, как ты, будут не нужны. Появится настоящий товарищ-директор, вскормленный гнусными пилюлями... (Плачет.)

С к у р в и. У вас просто комплекс лангуста — у вас и вам подобных. Не ждите, Саетан, никогда этому не бывать. Не может наш вид так деградировать, чтоб у него органы пищеварения съежились и довольствовались парой пилюль. Тогда пропорционально деградировало бы все на свете — и вообще бы не было проблем: осталась бы масса угасающих простейших организмов, а не общество, безнадежно больное взаимозависимостью своих составных частей.

I I  П о д м а с т е р ь е. Вот что я вам скажу: любая правда была бы хороша, кабы не личная жизнь. Вот вы, господин прокурор, отва́лите свою работу и можете вволю размышлять об абстрактных материях вне зависимости от вашего желудка и прочих толсто-тонких кишок...

С к у р в и. Ну, это преувеличение...

I I  П о д м а с т е р ь е. Но не сильное. (В отчаянии.) Мне хочется красивых баб и много пива. А я могу только две кружки, да еще вечно с этой Каськой, вечно с этой Каськой — черт бы ее драл!..

С к у р в и (с отвращением). Хватит...

I I  П о д м а с т е р ь е (подступает к нему, сжав кулаки, с иронией). Ах, хватит? Ах, у господина прокурора верховного суда в носу щипет из-за того, что Ендреку вечно приходится с одной и той же Каськой. Ведь сам-то господин прокурор у нас теософ. Оченно изячные у него идейки. Но и девок у него сколько душе угодно. Вот бы ему еще только одну, ту самую, но с ней-то как раз ничего и не выходит — хи-хи — везде одни и те же проблемы, отношеньица параллельно сдвинуты либо еще как коллинеарно уподоблены — хи-хи!

С к у р в и (холодно). Молчать, флядское отродье, молчать, потрох крученный!

I  П о д м а с т е р ь е. Ха-ха! Эх! Попал, ей-богу попал! Сейчас она сюда заявится, эта садистка с лицом ангелочка, эта аморальная развратница, бревийерка эдакая — что твоя маркиза де Бринвийер. И что ей муки господина прокурора, которому приходится с другими девками, мечтая о ней, о ее «недоштупной» шоме — в слове «сома» нет ничего дурного — так вот, для нее поглазеть на эти муки — то же, что заглянуть мимоходом в мастерскую, где мы потеем, подыхая от трудового смрада, или в тюрягу, где лучшие самцы околевают в половом, точнее, внеполовом отчаянии среди духовного и телесного распада...

С к у р в и. Он помешался, это его безумие — от невозможности удержаться — оно отравляет меня как цикута. Я сам начинаю сходить с ума! (Падает на сапожную табуретку.) Как же я ее понимаю, даже в худших ее женских духовных пакостях... как бы было прекрасно... Что делать, коль ей угодно, чтоб ни-ни — ох, ох! Мои страдания насыщают ее полнее, чем насытило бы любое мое безумное гиперизнасилование.

С а е т а н. О — гляньте-ка — распался на элементарные частицы и даже уже не воняет. Пошей-ка с нами сапоги, а, господин прокурор, — вам это пойдет на пользу — не то что вид приговоренных к смерти с утра пораньше.

С к у р в и (всхлипывая). Вы даже это знаете, Саетан?! Саетан! Как это все ужасно...

Входит  К н я г и н я  в сером костюме, в руках — великолепный желтый букет. Она раздает цветы всем присутствующим, не исключая и Скурви; тот, не вставая с табуретки, принимает цветок с достоинством и затаенной обидой (как это выразить на сцене, а?). Потом она сует букет в огромный радужный флакон, который несет за ней расфуфыренный лакей  Ф е р д у с е н к о. Фердусенко, кроме того, держит на поводке фокстерьера Теруся.

К н я г и н я. Здравствуйте, Саетан, здравствуйте. Как поживаете, как поживаете? Здравствуйте, господа подмастерья. Ого-го — работа кипит — все, я вижу, рьяно трудятся, как некогда выражались духовные наставники наших писателей — те самые, из восемнадцатого века. Прелестное словечко — «рьяно», не правда ли? А вы, господин прокурор, могли бы рьяно заняться любовью? (Терусь обнюхивает Скурви.) Терусь, фу!

С к у р в и (постанывая на табуреточке). Хочу своими руками сшить пару башмаков — хоть одну пару! Тогда я буду вас достоин, только тогда. Я смогу сделать что захочу из кого захочу. Даже из вас сумею сделать добрую, домашнюю, любящую женщину — чудище вы мое обожаемое, единственная моя... (Вдруг его словно заткнуло.)

С а е т а н (в суеверном изумлении). Тихо, вы! Эк его заткнуло — и-эх!

К н я г и н я. Ваша беспомощность, доктор Скурви, возбуждает меня до экстаза. Мне бы хотелось, чтоб вы посмотрели, как я — ну, знаете? — это самое, только не скажу с кем — есть один дивный поручик из числа синих гусар жизни, еще кое-кто из моего круга или слоя, есть еще один художник... Ваша робость для меня — резервуар самого разнузданного, животного, утробно-насекомого сексуального наслаждения: я бы хотела, как самка богомола, которая в конце пожирает, начиная с головы, своих партнеров, в то же время не переставая это самое — ну, сами знаете, хе-хе!

I I  П о д м а с т е р ь е (скверно, на манер госпожи Монсёрковой, выговаривая французские слова, поднимает огромный офицерский сапожище). Кель экспресьон гротеск[79]!

Чувствуется, что сапожники чрезвычайно возбуждены.

С а е т а н. Дай-ка ему, пес его фархудру грёб, тот офицерский, кирасирский сапожище. Пусть дошьет за тебя. Это ему нужны такие сапоги — ему и тем молодчикам, ради которых он заточает героев будущего человечества в свои дворцы — дворцы духа его! Держать весь этот сброд за морду — вот их благороднейший лозунг. И-эх! И-эх! И-эх-х!

I  П о д м а с т е р ь е. Товарищ мастер, а у него ведь, это, еще одна беда: он же влюбился в нашу распутную ангелюшечку только потому, что она княгиня, а он — простой буржуй третьего сословия, а не фон-барон никакой. Таких, как он, еще лет двести назад графья безнаказанно били по мордасам. И вот он страдает, и сам своим страданием упивается — а без этого ничто ему не мило, драной кошки сыну, как писал сам Бой.

С к у р в и (вскакивая; при этом II Подмастерье сует ему в распростертые объятья офицерский сапожище. Скурви, прижимая сапог к груди, восторженно ревет). Нет! — только этого у меня не отнимайте: я истинный, либеральный — в экономическом смысле — демократ.

С а е т а н. Ну, ты его зацепил. Да — он скорбит, что не привелось ему лизнуть этого паршивейшего из возможных прозябания — среди фиктивно-иллюзорных ценностей графского житья-бытья последней половины двадцатого века. Да он бы не знаю что отдал, только бы стать страдающим графом да сверху вниз пялиться на всё наше житьишко с этаким, знаете ли, тонким превосходством, что уж, пёсья сука, и не знаю как. Мало ему, что он, доктор права и прокурор чуть ли не высшего, прямо-таки Страшного суда, может сапоги тачать, — ему важнее, что́ этот ангелочек (указывает на Княгиню) протрубит ему на своем нутряном органчике.

К н я г и н я (фокстерьеру, которого утихомиривает Фердусенко). Терусь, фу! И вы, Саетан, тоже — фу! Да нельзя же так — и не спорьте, что «льзя», как говаривали славянофилистые остряки, мастера бессмысленных словечек. Это безвкусно, и все тут. У вас всегда было столько такта, а нынче...

С а е т а н. Буду бестактным — буду! Довольно вкуса. Все нутро выверну — всю грязь и страшный смрад. Пусть все смердит, пусть вусмерть просмердит весь мир и высмердится напрочь — может, хоть потом наконец заблагоухает; жить в таком мире, каков он есть, просто невозможно. Несчастные людишки не чуют, как зловонна демократическая ложь, а вот вонь сортира они чуют, сучье вымя — и-эх! Вот она, правда: он бы все отдал, чтоб хоть секунду побыть настоящим графом. Ан не может, бедолага, — и-эх!

С к у р в и. Пощадите! Признаюсь. Сегодня утром при мне повесили осужденного мною графа Кокосинского. Януша, не Эдварда, не убийцу уличной девки Ривки Щигелес, а государственного казнокрада из Пэ-Зэт-Пэ, кабинет 18. Признаюсь: я завидовал, что его вздернули, да, я завидовал ему, настоящему аристократу. Конечно, если б до дела дошло, я бы и за девять лучей в короне повесить себя не дал — но в тот момент: завидовал! Он говорил, этот граф, а его рвало от страха, как мопса от глистов. «Смотрите, как в последний раз блюет — je dégobi[80] — настоящий граф!» О — хоть раз иметь возможность так сказать — и умереть!..

К н я г и н я (фокстерьеру). Терусь, фу! Я просто таю от нечеловеческого наслаждения! (Поет — это первый куплет.)

Я из рода «фон унд цу» — Приглянулась шельмецу. Мчусь, как антилопа гну, То подпрыгну — то взбрыкну!

Это мой первый куплетик сегодня с утра. Моя девичья фамилия Торнадо-Байбель-Бург. Вы, Роберт, понятия не имеете, что за наслаждение носить такую фамилию.

С к у р в и (изнемогая). Ах — а ведь когда-то и она была девицей! Мне никогда и в голову не приходило. Малюсенькой девчоночкой, дочурочкой-бедняжечкой. Эта ее в высшей степени безвкусная песенка умилила меня до слез. На меня такие вещи действуют сильнее, чем подлинное страдание. Чей-нибудь маленький стыдливенький фо-па до жути трогает меня, а на кишки навыпуск я могу смотреть без дрожи. Золотко ты мое единственное! О, как безмерно я тебя люблю. Страшно, когда дьявольское вожделение сливается воедино с нежнейшей сентиментальностью. Вот тогда самец готов — готё-о-у.

Падает с табуретки, прижимая к груди сапог. Сапожники поддерживают его, не выпуская из рук желтые цветы, полученные от княгини. Они, заговорщически подмигивая друг другу, прямо-таки ведрами хлещут нездоровую атмосферу.

I I  П о д м а с т е р ь е (нюхая букет. Скурви пристроили на табуретке в очень неудобной для него позе — головой вниз). Страдалец, тоже мне! Вот я — да: я глотаю реальность помойными ведрами. Реальность нездоровую, как миазмы Кампанья Романа.. Потягиваю охлажденные помои через трубочку, как мазагран. Адская мука! Кишки обожжены, будто мне сделали клистир из концентрированной соляной кислоты.

К н я г и н я (риторически). Это уж слишком.

I I  П о д м а с т е р ь е (упрямо). Нет, вы только подумайте: отчего я такой, а не иной? Неправда, что о другом существе я не мог бы сказать «я». Я мог стать ну вот хоть этой падлой (указывает на Прокурора), а я — грубо говоря — всего лишь какая-то обледенелая супервшивота или что-то вроде — на перевале дичайшего абсурда, где дух перемешан с плотью, а монады с автоматами — я, того, уж и сам не знаю... (Сконфуженно умолкает.)

С а е т а н. Нечего конфузиться, Ендрек! Все вранье — биологический материализм автора пьесы говорит о другом: это синтез исправленного психологизма Корнелиуса и дополненной монадологии Лейбница. Миллиарды лет соединялись и дифференцировались клетки только затем, чтобы такое мерзкое дерьмо, как я, могло сказать о себе — «я»! Или такое метафизическое проститутище княжеских кровей — к чему сюсюкать? — пся крев, пёсья мать ее, сука коронованная...

К н я г и н я (с укором). Саетан...

С а е т а н (возбужденно). Ирина Всеволодовна — вам еще Хвистек запретил присутствовать в нашей изящной словесности. Вот и приходится вам блуждать по бессмысленным пьесам, стоящим вне литературы, которых никто никогда играть не будет. Хвистек, скажу я вам, не выносит русских княгинь, терпеть их не может, бедняжка. Ему бы хотелось каких-нибудь белошвеек, стенографисток — я знаю? Но для меня — уж это слишком! Для меня, для нас сойдут и вонючие подзаборные шлюхи, и еще более вонючие площадные или какие-нибудь дворовые матроны: все эти наши бабки, да тетки, да дядькины жёнки... и-эх!

I I  П о д м а с т е р ь е. Мастер, это уже какое-то классовое самобичевание. Ваше счастье, что вы матерей не помянули, а то б я вам по морде дал.

С к у р в и (с дикой, безумной улыбкой). Классы классов! Ха-ха-ха! Логистика классовой борьбы. Классовая борьба классов против самих себя. Сам себя презираю за этот убогий каламбур, но ничего лучше мне не придумать.

К н я г и н я (холодно). Зачем тогда вообще каламбурить?

С к у р в и. Дурной пример наших литературных острословов: их шуточки давно прогоркли, а они, канальи, всё каламбурят. Всё — хватит: надо ж кем-то быть и в этой западне — встать либо на ту сторону, либо на эту. От страха перед ответственностью — этого моего страха — я того и гляди упущу самый лакомый кусочек отпущенной мне жизни. А будь я графом, мог бы просто наблюдать со стороны.

К н я г и н я. Только в Польше проблема графского титула стоит так остро. Но довольно об этом — шлюс, чудесные вы мои ребятки! (Целуется с Подмастерьями.)

С к у р в и. Как же можно так говорить: «чудесные вы мои ребятки» — брррр... (Брезгливо содрогается и цепенеет.) Господа, да это ж верх безвкусицы и моветона! Я брезгливо содрогаюсь и цепенею. (Что и делает.)

I I  П о д м а с т е р ь е (утираясь). Так что за эти туфельки, госпожа княгиня, я с вас денег не хочу, а извольте-ка мне десяточек пламенных поцелуев, навроде тех, что у Чикоша с мадам де Корпоне в том романе Иокаи, что я в детстве читал.

К н я г и н я (направляя на него маленький серебряный браунинг). Знаю: «Белая женщина» — ты получишь дюжину пуль, как тот самый Чикош.

I  П о д м а с т е р ь е (в высшей степени изумленно). Ну и ну, так выходит, как пишут все эти безмозглые литературщики, подрывающие устои здравого смысла, все эти адепты нечистого монизма, сакра ихняя хлюздра: «жизнь это искусство, а искусство это жизнь»! Так у нас же тут, на нашей малой сапожницкой сцене, того, и так всё есть — все, чего только эти обормоты из себя ни вымудрят! Я изумлён в высшей степени!

С к у р в и (вдруг придя в себя, поднимается). Хе-хе!

С а е т а н. Гляньте-ка: снова захехуекал. Небось опять чего-нибудь изобрел, чтоб сызнова над нами возвыситься. Качели какие-то, а не человек. Однако, он тоже не такой уж сытый — говорю вам: он же, бедолага, просто ужасно мучается, как говаривал Кароль Шимановский, похороненный недавно на Вавеле, а не на Скалке, как хотелось бы некоторым, — все же Скалка — это для местных знаменитостей, а не для подлинных гениев.

С к у р в и (холодно, обрывая зубами цветы). Хочу и буду! Я встану во главе их и открою вам чертог моей души: вы узрите величайшего представителя нашего сословия — бедной, демократической, не до конца добитой буржуазии. Я должен! Я преодолею желудочные проблемы, после чего ваш вопрос будет рассмотрен на высшем духовном уровне. Вы еще будете мне руки целовать, вы, братья мои по духовной нищете.

С а е т а н. Да никто ж тебя ни о чем не просит, ты, Робер Фратерните! Нам интеллигенты без надобности — ваше времечко прошло. Из вибрионов мы восстали — в вибрионы и вернемся. Я люблю животных. Я, двоюродный брат мезозойских гадов, силурийских трилобитов, свиней и лемуров — чувствую связь со всем живым во Вселенной — такое редко бывает, но это правда! И-эх! И-эх! (Впадает в экстаз.)

К н я г и н я (восторженно). Ах, Саетан, как же я вас люблю за это! Люблю вас именно таким — дурно пахнущим, вшивым. В сердце старейшего сапожника нашей планеты сияет солнце змеиной любви ко всему на свете. Пожалуй, когда-нибудь я стану вашей — только ради формы, для фасона, для шика — но лишь один-единственный разок.

С а е т а н (поет на мотив мазурки).

Пестрого опыта в жизни не стоит бояться, Правда, при этом нетрудно в дерьме изваляться. А хоть бы и так — ну и что, ну и что, ну и что? Кто мне ответит на этот вопрос? Да никто[81]! И-эх!

К н я г и н я (посыпая его цветами). Я отвечу — я! Только не надо больше мелодекламаций — это у вас выходит так безвкусно, что просто ужас. Мне за вас стыдно. Я-то другое дело, я могу себе это позволить, я ведь, того, популярно выражаюсь, княгиня — ничего не поделаешь. (Кричит.) Эй! Эй! Здравствуй, пошлость! Уж теперь-то я тобой натешусь всласть — за всю беду: мою, моих предков и их задков. Даже бедняга Скурви не кажется мне сегодня таким ничтожеством.

I I  П о д м а с т е р ь е. В проблеме предков что-то есть! Родители кое-что значат — это ж вам не инкубатор, а стало быть, и дальние предки — тоже не хухры-мухры, черт возьми! Только не надо доводить до абсурда, как все эти аристократы да деми-аристоны. Во как: это единственное, в чем я рекомендую соблюдать умеренность. Хуже нет, чем польский аристократ, — еще хуже, пожалуй, только польский полуаристократ, который уж и вовсе из ничего выпыживается. Гены, вишь, у него. Так опять же — и у доберманов, и у эрдельтерьеров...

I  П о д м а с т е р ь е (прерывает его). А ты попробуй-ка, браток, хоть что-то в этой жизни не довести до абсурда: ведь всё бытие, святое и непостижимое — это один великий абсурд — борьба чудовищ, только и всего...

К н я г и н я (пылко). А все потому, что беззаветно уверовать в Бога не...

Саетан бьет ее по морде, да так, что вся Княгиня буквально обливается кровью (пузырек с фуксином). Княгиня падает на колени.

Зубы мне выбил — зубки мои, как жемчужинки! Это ж настоящий...

Саетан бьет ее еще раз, она умолкает и только всхлипывает, стоя на коленях.

С к у р в и. Иринка! Иринка! Теперь уж никогда мне не выбраться из лабиринта твоей лунной души! (Декламирует.)

В сребристые поля бежать с тобой хочу, Своей мечтой туда как птица я лечу. Но ужас одинокого пути Я не смогу во сне перенести[82].

I  П о д м а с т е р ь е. А утречком придешь смотреть, как рыгают от страха приговоренные тобою к смерти живые трупы. Этим ты и живешь, паскуда! А перед смертью еще и кровушку у них отсасываешь — вампиризируешь их: You vampyrise them. You rascal![83] Я был в Огайо.

С к у р в и. Меня уже не ранят эти речи. То, чего вы хотите добиться гнусным, грязным, паскудным способом, я совершу в сказочном сне о себе и о вас: всё в чудесных красках, и я — в шикарном фраке от Сквары, благоухая одеколоном «Калифорнийский Мак», как истинный денди, — спасаю этот мир одним волшебным заклятьем, но не по-вашему, а за счёт деградации культуры. Еще не утрачена магическая ценность слов, в которую верили наши поэты-пророки, а сегодня продолжают верить логистики и гуссерлисты. Я говорил об этом еще накануне кризиса: смотри мои брошюрки — которых, notabene, так никто и не читает.

К н я г и н я (на коленях). Господи, какой же он зануда!

С к у р в и. Аристократия выродилась — это уже не люди, а призраки! Слишком долго человечество таскало на себе этих призрачных вшей! Капитализм — злокачественная опухоль, он загнивает и разлагается, заражая гангреной организм, его породивший, — вот вам нынешняя общественная структура. Необходимо реформировать капитализм, не посягая на частную инициативу.

С а е т а н. Что за галиматья!

С к у р в и (лихорадочно). Либо вся земля добровольно преобразится в единую, элитически самоуправляемую массу, что почти немыслимо без финальной катастрофы, — а ее следует избежать любой ценой, — либо необходимо застопорить культуру. У меня в башке просто жуткий хаос. Создать объективный аппарат власти — элиту всего человечества — невозможно: избыток интеллекта лишает дерзости в поступках, самый премудрый мудрец ничего не додумает до конца из страха хотя бы перед собственным безумием, но и это ничто в сравнении с реальностью. Страх перед самим собой — не легенда, а факт — человечество тоже боится себя, человечество как целое устремлено к безумию — единицы это сознают, но они бессильны. Непостижимо бездонные мысли... Если б я мог оставить либеральный тон и на время с этими мыслями слиться, чтобы потом их разложить и проникнуться ими! (Задумывается, сунув палец в рот.)

К н я г и н я (встает, вытирая платком окровавленные губы). Скучно, Роберт. Все, что вы говорите, — бред социального импотента, не имеющего серьезных убеждений.

С к у р в и. Ах так? Ну, тогда до свиданья. (Выходит, не оглядываясь.)

I I  П о д м а с т е р ь е. Однако у этого мопсястого прокурора гениальное чувство формы: ушел как раз вовремя. И все-таки он слишком умен, чтоб быть сегодня кем-то: сегодня, чтобы чего-то добиться, как ни крути, а надо быть немного идиотом.

К н я г и н я. Ну а теперь приступим к нашим обычным, повседневным делам. Продолжайте работу — час еще не про́бил. Когда-нибудь я превращусь в вампирицу и выпушу из клеток всех монстров мира. Но он, большевизированный интеллигент, желая выполнить свою программу, сперва должен подавить всякое стихийное общественное движение. Он все рассует по полочкам, но при этом половине из вас головы свернет во имя надлежащих пропорций мира. Скурви — единственный, кто имеет влияние на лидера «Бравых Ребят» Гнэмбона Пучиморду, но он никогда не хотел это влияние использовать во имя абсолютного общественного лесеферизма, лесеализма и лесъебизма. (Садится на табуретку и начинает лекцию.) Итак, любезные мои сапожники: по духу вы мне даже ближе, чем механизированные, согласно Тейлору, фабрично-заводские пролетарии — в вас, представителях кустарных ремесел, еще жива первобытно-личностная тоска лесных и водяных зверей, которую мы, аристократы, абсолютно утратили вместе с интеллектом и даже самым примитивным, мужицким, так сказать, разумом. Что-то у меня сегодня не клеится, но, может, пройдет. (Откашливается — долго и весьма многозначительно.)

С а е т а н (нарочито, неискренне). И-эх! И-эх! Тока вы, сударынька, этим своим откашливанием — долгим и многозначительным, особо себя не утруждайте, потому как ничем оно вам не поможет! И-эх!

П о д м а с т е р ь я. Ха-ха! Гм, гм. Завсегда бы так! Так-то оно лучше! Ху-ху!

К н я г и н я (продолжает лекторским тоном). Цветы — те, что я вам сегодня принесла, — это желтые нарциссы. Видите — о! — вот у них пестики, а вот тычинки; оплодотворяются они так: когда насекомое заползает...

I  П о д м а с т е р ь е. Да я ж это, Господи ты Боже мой, еще в начальной школе проходил! Но меня прямо любовный озноб прошиб, когда госпожа княгиня...

С а е т а н. И-эх! И-эх! И-эх!

I I  П о д м а с т е р ь е. Оторваться не могу. Такая зловещая половая скорбь и такая жуткая половая безнадежность — прямо как в пожизненном заключении. И если б сейчас со мной что-нибудь эдакое, избави Боже, произошло, мне было б, наверное, так хорошо, что я бы потом до конца жизни выл от тоски по этому самому.

I  П о д м а с т е р ь е. Умеете же вы, госпожа княгиня, даже в простом человеке разбередить, расковырять все эти кошмарные фибры рафинированной похоти... Ах! У меня аж все плывет перед глазами от этой сладкой и отвратительной муки... Изуверство — вот суть...

С а е т а н. Эй! Тише вы! Пусть в нашем смрадном житии святым сей дивный миг пребудет — всех нас, несчастных вшиварей, трагическая похоть сгубит! Я хотел бы жить как эфемер — кратко, но ярко, а она все тянется, эта бесконечная колбасина из дерьма, тянется за этот серый, нудный, можжевелово-кладбищенский горизонт безнадежно-бесплодного дня — туда, где подстерегает червивая, затхлая смерть. Тьфу ты пропасть, да в могильную бадью — или как там оно — все едино.

К н я г и н я (от восторга закатив глаза). Сбывается сон! Нашелся медиум для моего второго воплощения на этой земле. (Сапожникам.) Как бы я хотела облагородить вашу ненависть, преобразить зависть и ревность, ярость и неудовлетворенность жизнью в неукротимую творческую энергию гиперреконструкции — так это называется. Зародыши новой общественной жизни наверняка таятся в ваших душах, конечно же, ничего общего не имеющих с вашими потными, зловонными, заскорузлыми телами. Я хочу сосать муки вашего труда через трубочку, как комар пьет кровь гиппопотама — если такое вообще возможно, — чтоб их впитывали мои идейки, эти прелестные мотылечки, — о, когда-нибудь они обратятся в буйволов. Не социальные институты создают человека, а человек — социальные институты.

I  П о д м а с т е р ь е. Тока без блефу, ясновельможная. Институты, они ведь выражают высшие поползновения, из них-то они, знать, и выкристаллизовываются, — а уж как этой функции не сполняют, то и хрен же с ними — понятно тебе, ландрыга рваная?

I I  П о д м а с т е р ь е. Тихо ты — пущай ее допуста выболтается.

К н я г и н я. Да — позвольте мне хоть разок раскрыть настежь — иначе: нараспашку — мою изгвазданную, истерзанную душу! Итак, на чем бишь мы остановились? Ага — я хочу, чтоб ваша ненависть и злоба породили творческий экстаз. Как это сделать, сама не знаю, но мне подскажет интуиция, та самая женская интуиция, идущая из самого нутра...

С а е т а н (страдальчески). Оооох!.. И даже из некоторых наружных членов... ооох!

К н я г и н я. Но как обуздать вашу злобу? Хотя — известно: иногда люди друг дружку гладят, чтоб вызвать в другом бо́льшую страсть. Вы, Саетан, злитесь на меня, но в то же время от меня в восторге, как от существа безусловно высшего, чем вы: я знаю, как это мучительно! И если б сейчас я погладила вас по руке — вот так (гладит его) вы б еще больше разъярились — вы бы просто из кожи вон вылезли...

С а е т а н (отдергивает, скорее даже вырывает руку, как ошпаренный). Ох, стерва!!! (Подмастерьям.) Видали: вот он — высший класс сознательной извращенности! Хотел бы я быть таким же классово сознательным, как эта тварь — извращенно, по-женски — о, сакра ейная сучандра!

К н я г и н я (смеясь). Обожаю это ваше высшее сознание собственного убожества, это чувство щекочущей боли — оно разлизывает вас во вшивых слизней. Представьте только: если бы я прокурора Скурви, который желает меня до безумия, который весь как переполненный стакан, готовый расплескаться, представьте, Саетан, если бы я его так ласково, так сострадательно погладила, как бы он рассвирепел и обезумел... О, если б он мог быть один, как все вы трое...

Угрожающее движение троих Сапожников по направлению к Княгине.

С а е т а н (грозно). Руки прочь от нее, ребята!!

I  П о д м а с т е р ь е. Да пошел ты, мастер, сам прочь!

I I  П о д м а с т е р ь е. Хоть разок бы, да как следует!

К н я г и н я. А потом годков пятнадцать за решеточкой! Уж Скурви бы вас не пощадил. Нет уж — кыш! Терусь, фу!! Фердусенко, немедленно подайте мне английской соли.

Ф е р д у с е н к о подает соль в зеленом флаконе. Она нюхает и дает понюхать Сапожникам, которых это успокаивает, но увы, ненадолго.

Итак, вы видите: ваша агитация удается только потому, что эти между собой договориться не могут. Но если Скурви, высший сановник юстиции, у которой болезненная мания независимости, сумеет как следует подлизаться к организации «Бравые Ребята»...

С а е т а н (с болью, непостижимой прямо-таки ни для кого). И подумать только — мой отпрыск там у них — из-за этих паршивых денег — мой, мой собственный — у этих «Бравых Ребят», чтоб вся ихняя бравада скисла, чтоб ей пусто было, этой ихней удали молодецкой! О — хоть бы лопнуть, что ли, от этой адской боли — такого ж никакое нутро не стерпит. Грыжепупы вы грёбаные — уж и не знаю, как ругнуться — даже это дело у меня сегодня что-то не идет.

I  П о д м а с т е р ь е. Тихо вы — пущай эта стерва, гуано ей в тетку, хоть раз до конца выскажется.

I I  П о д м а с т е р ь е. До конца, до конца. (Дико рвется.)

К н я г и н я (как ни в чем не бывало). Так вот, все дело только в том, что вы не умеете организовываться — из опасения, что возникнет иерархия и аристократия, хотя сегодня только вы — единственная сила в этом смердятнике жизни — ха, ха!

I  П о д м а с т е р ь е. Ну и стурба, пес бы ей, холере, в сучью влянь!

С а е т а н. У тебя уж язык от ругани заплелся — бросай-ка это дело. Хотелось бы, чтоб кто-нибудь раз и навсегда во всех деталях эту процедуру разобрал, а то, вишь, клянет все на свете безо всякого чувства юмора, а уж тем паче без французского изящества. Прочитал бы лучше «Словечки» Боя, чтоб хоть немного национальной культуры поднабраться, ты — буздрыга, халапудра, ты, блярвотина задрюченная, ты, сморк обтруханный, ужлобище клоповное...

К н я г и н я (холодно. Оскорблена). Будете вы слушать или нет? Если не прекратите ругаться, я, по древнему аристократическому обычаю, сию же секунду удалюсь на файв-о-клок. Меня все это забавляет, только когда ваши проклятья адресованы мне, хлюпогоны вы, пурвогрызы, прибздурки завонюханные...

С а е т а н (уныло). Слушаемся! Больше ни гу-гу!

К н я г и н я. Так вот, они — «супротив» вас — это я так простонародно выражаюсь, чтоб вы наконец поняли, «кес-ке-се». Они разные — это главное. Мы, аристократия, — разноцветные мотыльки над экскременталиями мира сего: вам доводилось видеть, как мотылек порой садится на дерьмо? Прежде-то мы были точно стальные черви во чреве беспредельности бытия и трансцендентальных законов, или как их там: я ведь всего лишь простая, малограмотная графская дочь, и только-то, и всего-то, но это не важно; так вот, нас губит разнородность, поскольку для нас, pour les aristos[84], бравада этих самых «Бравых Ребят» чересчур уж демократична — никогда не известно, чем она обернется. А Скурви уже снюхался с госсоциализмом старого образца, но по мнению Его Супербравейшества генерала Гнэмбона Пучиморды, он и сам слишком близок к вам — ах, эта относительность социальных перспектив! Видите, как запутан клубок относительности: что для одного воняет, то для другого благоухает, и наоборот. Я этих идейных драм не выношу — ну что это такое; бурмистр, кузнец, дюжина советников, баба с большой буквы «Б» как символ вечной похоти, а над всем этим — Он, тот, что якобы всех важнее, чье имя неведомо, да плюс рабочие, работницы и некто неизвестный, а еще выше — в облаках — сам Иисус Христос под ручку — нет, не с Шимановским, а с Карлом Марксом собственной персоной; но меня такой бредятиной не взять — сперва на́ кол посади-ка, а потом уж — лупцевать. Люблю реальность, а не эту символистскую абракадабру из бездарных виршей эпигонов Выспянского, не эту политэкономию неучей, надерганную из бульварных газетенок.

I  П о д м а с т е р ь е. Во базарит, дуплить ее в сучий хобот, хуже последней мандралыги! Заехать бы разок ей в морду, в это ангельское рыло, а потом будь что будет.

I I  П о д м а с т е р ь е. Боюсь, если я разок ей двину, то уж потом не удержусь — произойдет Lustmord — убийство на почве сладострастия. Ой, у мастера тоже взгляд нехороший — он уж ей и так разочек врезал. Ну-ка, давайте, ребятки, разорвем ее в клочки, эту духовную кочерыгу, эту выскребуху... (Со смаком выделывает черт-те что руками и причмокивает.)

Саетан, надвигаясь, грозно кашляет; фокстерьер бросается на них: Гмр-р, гр-рм, гмар-р...

К н я г и н я. Терусь! Фу!

Стена с окошком заваливается, трухлявый ствол дерева выпадает. Резкое затемнение в глубине сцены, только мерцают далекие огоньки и тускло светит лампа под потолком. Из-под занавеса выходит С к у р в и в пунцовом гусарском мундире а ля Лассаль. За ним вбегают «Б р а в ы е  Р е б я т а» в красных трико с золотым галуном; во главе их — сын Саетана, Ю з е к.

С к у р в и. Вот они — «Бравые Ребята» — а это Юзек Темпе, сын присутствующего здесь Саетана. Сейчас произойдет так называемая «укороченная сцена знакомства» — у нас нет времени на долгие, так сказать, естественные процессы. Взять их, всех до единого! Здесь угнездились гнуснейшая антиэлитарная мировая революция, имеющая целью парализовать все инициативы сверху, — здесь она рождается из чрева развратной, ненасытной самки, ренегатки собственного класса, а ее конечная цель — бабоматриархат, на посрамление твердой мужской силе, — но общество, как женщина, должно иметь самца, который бы его насиловал, — бездонная мысль, не так ли?

С а е т а н. Постыдился бы — это ж чушь собачья.

С к у р в и. Молчать, Саетан, молчать, ради Господа Бога! Вы — предводитель тайного общества разрушителей культуры: мы провернем это на более высоком уровне; пришло время твоего сыночка, старый ты дурак, — но не буду ругаться. Меня по телефону назначили министром юстиции и многообразия действительности — в соответствии с теорией Хвистека. Всех в тюрьму, во исполнение воли моей, во имя защиты величайших элитных умов!

С а е т а н (в отчаянии). Во имя кучки разожравшихся брюханов и маньяков — рабов денежного мешка как такового — als solches — сучье вымя...

С к у р в и. Молчать, Христа ради...

К н я г и н я. Вы не имеете права... (Ее было придушили, но потом отпускают.)

С к у р в и (заканчивает). ...старый идиот, и не говори банальностей — сегодня я за себя не ручаюсь, а мне бы не хотелось начинать новую жизнь в качестве первого госпрокурора с убийства в состоянии аффекта, хотя в крайнем случае я мог бы себе это позволить. С утра все подпишу в своем кабинете — у меня пока еще нет печати.

С а е т а н. Что за глупо-жалкая мелочность в такую минуту!!

С к у р в и (Княгине, спокойно нюхающей цветок). Видите, как можно обуздать дьявольские страсти: ничего для себя лично; все отдано обществу.

К н я г и н я. Неужели и это тоже? (Замахивается хлыстиком, который подан ей услужливым Фердусенко, метя в нижнюю часть прокурорского живота.)

С к у р в и (оттолкнув хлыстик, вопит в дикой ярости). Взять, взять всех четверых! Это может показаться неимоверно смешным, но никто не знает, что именно здесь вызревал гнусный заговор развратных сил, которые могли уничтожить все наше будущее и ввергнуть мир в анархию. А с вами, княгиня, мы сочтемся позже — теперь-то наконец у нас времени хоть отбавляй.

С а е т а н (подставляя руки под наручники). Ну же — Юзек, быстрее! Не ведал я, кого лоно мое...

Ю з е к  Т е м п е (весьма актерски). Ну, ну, отец — без громких фраз. Нету тут никаких лон — одни голые факты, притом общественно-значимые, а не все эти наши узко-личные мерзости: в последний раз восстал индивидуум против паскудства грядущих дней.

С а е т а н. Увы — хватит чушь молоть — и-эх!!!

«Бравые Ребята» помаленьку берутся за всех присутствующих. Молчание. Скука. Понемногу опускается занавес, потом поднимается и опять опускается. Скука смертная.

Конец первого действия

**Действие II**

Тюрьма. Камера принудительной безработицы, разгороженная так наз. «балясинками» на две части: слева нет ничего, справа — великолепно оборудованная сапожная мастерская. Посредине, на возвышении, отгороженном витой решеткой, прокурорская кафедра, за ней дверь, а выше — витраж, изображающий «Апофеоз наемного труда», — это может быть совершенно невнятная кубистская мазня — зрителям ее смысл разъясняет вышеприведенная надпись, сделанная аршинными буквами. По левой части камеры, как голодные гиены, бродят  С а п о ж н и к и  из I действия. Они то ложатся, то садятся на пол — в их движениях заметна первобытная усталость от безделья и скуки. Они все время почесываются и чешут друг другу спины. Слева у двери стоит  О х р а н н и к, совершенно обычный молодой парень что надо, в зеленой униформе. Он то и дело кидается на кого-нибудь из Сапожников и, невзирая на сопротивление, выволакивает за дверь, после чего почти немедленно впихивает назад.

О х р а н н и к (указывая вглубь сцены). Это камера принудительной безработицы для истязания лиц, жаждущих работы. На витраже (показывает) — назло безработным — в аллегорической форме изображен «Апофеоз наемного труда». Больше мне сказать нечего, и никто меня говорить не заставит. Проститутки милосердия у нас под строгим запретом. Человечество распустилось — если так не справимся, придется официально вернуться к пыткам.

С а е т а н (хватается за голову). Работа, работа, работа! — Хоть какая, только б она была. О, Господи! Это же... ох, я уж ничего не знаю. Все нутро горит от этого принудбезделья, жажда работы жжет меня как огонь. Может, я неуклюже выражаюсь? Но что делать? Что делать?

I  П о д м а с т е р ь е. Самой красивой девки мне так не хотелось, как сейчас бы взгромоздиться на табуреточку, да с инструментом. Нет, я, наверно, рехнусь! Проклятье, как все банально! Что тюряга с человеком делает. Я быдто Вайльд или Верлен какой — преобразился, причем без всяких там обращений-причащений — ох-ох!

I I  П о д м а с т е р ь е. Теперь я: дайте работы, а не то с ума сойду, и что тогда? Что угодно дайте делать: сандалии для кукол, копыта для игрушечных зверюшек, воображаемые туфельки для несуществующих Золушек. Ох — работать — что это было за счастье! А мы не ценили, когда его было по горло и хоть залейся. О — ради Божьего треумхва — не многовато ли мучении послано нам, у которых и прежде-то мало что было. Где ты, Каська? Уж больше никогда!

С а е т а н. Тише, ребята. Мне моя верная интуиция подсказывает, что недолгой будет ихняя власть: что-нибудь да должно случиться, а уж тогда... (На I Подмастерья бросается Охранник и выволакивает несмотря на крики и протесты; Саетан невозмутимо заканчивает.) Не верю я, чтоб такую страшную силу, как наша, можно было заживо сгноить в параличе.

I I  П о д м а с т е р ь е. Много уж их таких было — вот так же верили, да так и сгнили. Жизнь — страшная штука.

С а е т а н. Дорогой, ты говоришь банальности...

I I  П о д м а с т е р ь е. Есть банальности и банальности. Величайшие истины тоже банальны. Мы уж ничего самим себе на диво из своих потрохов не выудим. Подыхать от скуки в принудительном бездействии, пока тебя откармливают, как сотню кабанов. Это отвратительно! Вы-то уж старик, а мне дак просто выть охота, и настанет день, когда я извоюсь до́ смерти. А какая чудная, какая славная могла бы быть житуха: после целого дня нечеловеческого труда опрокинули бы с Каськой по большой кружечке пива!

На кафедру поднимается  С к у р в и — он вошел через левую верхнюю дверь.

С к у р в и (одетый в пурпурную тогу и того же цвета круглую шапочку, поет).

Махатма выжрал кружку пива: И прояснилось все кругом. Теперь и он живет красиво — Не в «этом» мире, так в «другом»!

Тычет перстом в землю. Охранник швыряет I Подмастерья в камеру. Юная красивая  О х р а н н и ц а — передничек на мундирчике — подает Скурви на кафедру завтрак. Скурви пьет пиво из большой кружки.

I I  П о д м а с т е р ь е. Явилось наше единственное утешение, мучитель наш, злоблагодетель наш. Если б не он, ей-богу, взбеситься б можно было. Поймешь ли ты, человечество, как низко пали лучшие твои сыновья, если для них единственное культурное развлечение — глазеть на палача, причем развлечение для избранных, потому как нас, не считая этого, только двое, — мастер-то ведь наш ни-ни — хи-хи — презираю себя за этот смех, он звучит как плач беспомощного хлюпика над свалкой огрызков, объедков, оческов, окурков и пустых консервных банок — наборчик хоть куда.

С а е т а н. Молчи — не обнажай свои гнойные язвы перед нашим виртуозом пыток — он от этого только духовно расцветает и прибавляет в весе.

Охранник смотрит на часы — бросается на II Подмастерья и вытаскивает его за дверь, невзирая на стоны и сопротивление.

I I  П о д м а с т е р ь е (во время небольшой заминки при выволакивании). О, мука, мука! — принудработы в сравнении с этим — ничто... Ни минутки не дают поделать чего хотел! (Exit.)

С к у р в и (в рифму к «хотел»). Хе-хе. Я еще больше страдаю с тех пор, как получил политическую власть, — уже абсолютно не понимаю, кто я такой. Только в самых тошнотворных, демократических мелкобуржуазных республиках юстиция бывала по-настоящему независимой — когда в обществе ничего серьезного не происходило, не было никаких перемен, когда (с отчаяньем в голосе) это было просто вонючее застойное болото! О — учредить бы открытую политическую «чрезвычайку», ничего общего не имеющую ни с каким судом!

С а е т а н. Только грандиозные общественные идеи могут оправдать существование подобных институтов и дуализм юстиции. А во имя раскормленных или расстроенных желудков парочки маньяков концентрации капитала — это было бы просто свинством.

С к у р в и (задумавшись). Не знаю, то ли это какая-то особая разновидность трусости, порожденная диктатурой, то ли я истинный приверженец фашизма образца «Бравых Ребят»? Сила ради самой силы — так-так! Кто я? Боже! Во что я себя превратил! Либерализм это полное гуано — худший сорт лжи. Боже, Боже! — я весь как резинка, которую невесть на что натягивают. Когда ж я наконец лопну! Так жить нельзя, не до́лжно, а тем не менее живешь — и в этом ужас.

С а е т а н. Он тут нам нарочно демонстрирует свои страдания, чтоб показать, как элегантно можно изнывать от так называемых существенных проблем там, на свободе, где полно работы, баб и солнца. Эх, эх! Взять бы прокуроришку — оторвать ему башку. Как знать — быть может, это буду я — ха-ха!

С к у р в и. Довольно, или попросту — хватит этих убогих, эпигонских, поствыспянских виршей! Раса поэтов-пророков вымерла, и вам ее не воскресить и заново не возродить, хоть бы вы даже браком сочетались с той пресловутой — говоря в кавычках — «босоногой девкой» Выспянского...

I  П о д м а с т е р ь е (перебивает его). Ради всего святого, не поминай ты босоногих девок — меня в этой каталажке от одной мысли о них всего прям переворачивает.

С к у р в и (заканчивая добродушно и спокойно). ...и пожизненно здесь осели, что вовсе не так уж невозможно при современных процедурах. А эта ваша революция может грянуть как раз, предположим, на другой день после вашей более чем заслуженной кончины от общего загнивания на прелой соломе: «sur la paille humide», как говорят французы — (напевает) о французы, не угас он, галльской речи нашей блеск...

Те явно бледнеют и разинув рты падают на колени.

Ха — вы явно побледнели, котики мои, и рты так смешно раззявили — какое наслаждение и какая боль, а это для известного типа людей — самый желанный коктейль из чувств, — так они острее переживают безнадежность бытия, вместе с его глубочайшей, чудеснейшей безвозвратностью.

Влетает  I I  П о д м а с т е р ь е, которого втолкнул Охранник, и тоже падает на колени.

Но революции-то грянуть не спешат — у них есть время, у этих безликих монстров...

С а е т а н (на коленях). Ээ — болтает невесть что: и сам не знает, что плетет, а другие думают — это верх мудрости.

I  П о д м а с т е р ь е (побелевшими губами). У меня аж губы побелели от подлого страха. По-жиз-нен-но! (Первые слоги выговаривает раздельно, на последнем пускает дикого петуха.)

С а е т а н (сверхчеловеческим усилием овладев собой, поднимается с колен). А я беру себя в руки поистине сверхчеловеческим усилием. А я знаю, что доживу. А у меня есть интуиция и чувство ритма: «темпо ди пемпо», как сказал когда-то кто-то, зашмарзать его в елдыгу. Уж я-то знаю, как летит время, знаю, что если раньше национализм фактически был чем-то священным, особенно у народов угнетенных и обездоленных, то сегодня он губителен — я буду это утверждать, даже если вы мне удвоите пожизненный срок и скрасите его ежедневным мордобоем, едва мне вздумается произнести эти слова.

С к у р в и. Как так?

С а е т а н. Он еще спрашивает, худопупище обрыдлое: эта псевдоидейка — давным-давно затасканный прием концентрации международного капиталистического сволочизма.

С к у р в и. Довольно этой нудной брани, а главное — этой примитивной идеологии, не то морду набить прикажу.

I I  П о д м а с т е р ь е (Саетану). Помолчите — вы старый, вы все себе можете позволить, даже беззаветную отвагу. Но я-то — я, мо́лодежь, — да, да: дык я того, и ша. Мне девок охота, тьфу ты пропасть, тудыть твою рыть. (Глухо воет.)

С к у р в и (официально). Еще раз кто про девок помянет — в карцер пойдет, не будь я Скурви. Тюрьма священна, это место, где отбывается заслуженное наказание: никак не можно осквернять его грязными словами, господа осу́жденные!

С а е т а н. Итак, вернемся к вышесказанному: национализм не в силах создать новую культуру — он выдохся. Тем не менее в любой стране специфический антинационализм считается государственной изменой — и это несмотря на то, что в нем — причина войн, международных оружейных концернов, таможенных барьеров, нищеты, безработицы и кризисов. Призрак бродит по́ миру ему на посрамление, и говорю вам — он одолеет все это несчастное, себя недостойное, самоубийственно-глупое человечество!

С к у р в и. Да я, знаете ли, и сам когда-то...

С а е т а н (иронически). Когда-то! Все вы «когда-то», а важно — что сейчас: требуется не лига для обтяпывания формальных делишек оных националистических государств — что само по себе невозможно при капиталистическом, с позволения сказать, строе, — необходимо иное: лига борьбы с национальным эгоизмом, причем борьбы начиная с верхов, с этих самых элитических светлых голов. Но правда такова: уж если кто чего имеет, сам он этого ни в какую не отдаст — придется у него это с мясом, с потрохами вырвать. Добровольно готовые к этому личности так же редки, как радий, что уж говорить о группах людей — тем более о классах. Класс, он и есть класс, классом он и останется, пока не будет изничтожен до последнего клопа. Чичерин — ха!

С к у р в и (с невыразимой болью). Саетан, Саетан!

С а е т а н. Никто ж никому язык изо рта не вырывает — возможно, искусственные нации, естественным образом регионированные, еще выдавят из себя нечто, чего как таковые выжать из себя уже не могут, ибо загнивают, и-эх! С верхов загнивают! — Вы ж меня понимаете, господин Скурви: никакая это не государственная измена, а прекрасная гуманистическая идея — все как положено: кому, где и что, — так или нет, я спрашиваю.

С к у р в и. У вас, Саетан, голова на плечах имеется — чего-чего, а этого не отнимешь. Тогда единая власть управляла бы миром, и всеобщее благоденствие естественно установилось бы за счет искусного распределения материальных благ, а о войнах бы и речи быть не могло...

С а е т а н (протянув к нему руки — впервые обращается прямо к Прокурору — до сих пор он говорил, стоя лицом к этой чертовой публике). Так что ж вы сами не начнете? Неужто думаете, что мы должны делать революцию только снизу, даже тогда, когда она могла бы быть бескомпромиссно произведена сверху? Каждый остается на своем месте. Кто не хочет работать при новом строе — пуля в лоб, а строптивцам сразу выбить оружие из рук, отняв у них подчиненных им людей. Что такое комбат без батальона — кукла в мундире.

С к у р в и (в задумчивости). Гм, гм...

С а е т а н. Один декрет, второй, третий— и шлюс! Так почему же, спрашиваю я еще раз, вы сами не начнете? У тебя же есть власть, которая в твоих руках, сукин ты сын, превращается в дерьмо, а могла бы стать пучком творческих молний. Почему же, если ты все понимаешь, у тебя не хватает смелости? Тебе что, жаль своего дурацкого безбедного житьишка? — так его всякая самая убогая тварь послала бы подальше. Или дело в этой поганой публике, в популярности? — а может, еще в чем? О — если бы существовали высшие силы, я бы молил их о том, чтоб они освятили гремучую смесь власти, дабы та взорвалась сама по себе, без принуждения. Почему — уж коли существуют товарищества сознательного материнства — нет никаких институтов, которые просвещали бы государственных мужей по части истинного смысла слова «человечество», учили бы распознавать поворотные моменты истории! Почему политики всегда — тупые заложники какой-нибудь захолустной идейки или интриги, у истока или, скорее, на дне которой сидит омерзительный, бесплодный, да уже и бесполый полип международной финансовой олигархии — концерн чистой формы хамства и низости, и так далее, и так далее. Почему вы сами не начнете, находясь у власти? Почему?

С к у р в и. Не так все это просто, мон шер Сай-Э-Танг!

С а е т а н. Да потому, что от них-то вы эту власть и получили и теперь, от избытка честности, боитесь ее применить против них самих. А это был бы макиавеллизм высшей пробы, причем во имя благороднейшего идеала: блага всего человечества. Чего ж вы ждете, как тот болван Альфонс XIII или тот ветхозаветный Людовик, пока вас силой вышвырнут из этого дворца и с этой кафедры?

С к у р в и (с печальной иронией). Чтоб кое-что оставить и на вашу долю, Саетан. Если б я ушел с поста добровольно, вы потеряли бы свое героическое место в мировой истории: попросту остались бы без работы, как поэты-пророки и мессианисты после так называемого — почти официально — «польского взрыва». Никакого человечества нет — есть только черви в сыре, который тоже —всего лишь клубок червей.

С а е т а н. Дурацкие шутки — они не стоят левой половины ногтя на мизинце правой ноги Гнэмбона Пучиморды.

С к у р в и (спокойно). У вас, Саетан, почти пожизненный срок заключения, я уже не могу наказать вас дополнительно. Вы имеете право безнаказанно меня оскорблять, но пользоваться этим правом — истинное хамство — отнюдь не в аристократическом смысле. Измордовать вас я не велю — это я только так, для острастки — поскольку я большой гуманист.

С а е т а н (пристыженный). Простите великодушно, господин Скурви! Я больше не буду.

С к у р в и. Ну-ну, ладно, ладно — продолжайте. Изъясняйтесь свободно — так, чтобы между нами не было дистанции.

С а е т а н. До детей и простых людей никогда не следует, скажу я вам, снисходить. Они сразу все поймут, и это их только оскорбит.

С к у р в и (в некотором нетерпении смотрит на часы). А ну-ка, ну-ка — говорите же.

С а е т а н. Итак, господин Скурви, этот миг неповторим, как говаривали любовники в эротических романах — к счастью, племя их вымерло. Никогда еще лицом к лицу не сходились в споре представители двух основных сил, двух бурлящих в обществе течений: индивида и вида. Дело чертовски запутанное: индивид должен выступать от имени вида, а иногда как его осколок, — во времена, когда части выпадает миссия выражать интересы целого, во имя которого должен быть произведен Umschturz[85] — понятно?

С к у р в и. Что еще за историческая метафизика! Но ведь, Саетан: эту миссию, как вы ее называете — будет призван выполнить тот, по вашему выражению, «осколок вида», который ущемлен материально. А власть происходит от тотема — не забывайте, что без власти не было бы человечества в нынешнем понимании — вы не могли бы пускаться в свои вольнолюбивые выкрутасы и (со страшным нажимом) в них себя как индивида — это я говорю с максимальным нажимом — наиболее существенным образом переживать. Вот суть проблемы, и тут графья отчасти правы, пёсья мать. А чтобы действовать, надо быть немного дураком, этаким узколобым, знаете ли. Кто по-настоящему умен, тот действовать не станет: уставится в собственный пуп, и все тут. Я у вас этих ваших духовных ценностей отбирать не намерен. Просто я вижу тайное тайных, изнанку жизни и души человеческой.

С а е т а н. Все это — паршивая, прокурорская — в отрицательном смысле — заумь — да не дергайся ты сразу как рыба на крючке: такой знаток считает всех, а в чем-то и себя просто быдлом — а это не есть подлинное знание жизни. Может, и в нем есть доля правды, но тут уж как с тем пошлым утверждением, что даже альтруизм это эгоизм — мы ведь касаемся фундаментальных принципов существования, а оно не-мыс-ли-мо как вне индивидуального бытия, так и вне множества таковых. Однако вернемся к вышесказанному, хотя сегодняшняя отупевшая публика уже блюет от затянутых и все более заумных разговоров. А именно: подумайте хорошенько — что если вам первому выйти из строя и упразднить все национальные барьеры? Настанет золотой век рода человеческого: это же тривиально; национальная культура уже дала все, что могла дать, — почему мы должны жить, придавленные гниющей падалью? Зачем это нам, я вас спрашиваю. Ведь вы не верите, что будущее человечества — именно за такой формой?

С к у р в и. Саетан, Саетан! Неужели кора головного мозга юрских и триасских ящеров развивалась лишь затем, чтобы в конце концов народилось нечто столь лучезарно-омерзительное, как род человеческий?

С а е т а н. Не юли — отвечай! Что тебя держит? Ты же врешь в глаза. Я это ясно вижу — говорю тебе, интуитивно: ты ведь, ультраделикатно выражаясь, вовсе не фанатик агрессивного национализма.

С к у р в и (уклончиво, но wsio-taki, собака, с отчаяньем в голосе). Вы и представить себе не можете, как все трагично...

С а е т а н. Будет мне тут своими трагедиталиями голову морочить! Вот у меня — настоящая трагедия! Я вижу окончательную правду о человечестве, а из-за того, что я ее вижу, моя личная жизнь превратилась в черный, почти клоачный кошмар — и это в то время как вы погрязли в девках и майонезах.

О б а  П о д м а с т е р ь я (рычат). Хааа! Хаааа!!

С к у р в и. Девка под майонезом! Чего только эта шваль не выдумает! Надо попробовать!

С а е т а н. Отвечай, мурва фать, не то я тебе совесть парализую своим флюидом, воплотившим волю миллионов.

С к у р в и. Вдохновенный старец — явление ныне чрезвычайно редкое!

С а е т а н. Эх, эх, прокурор; сдается мне, что вы довольно скоро пожалеете об этих своих дешевых словесах!

С к у р в и (посерьезнев, в замешательстве). Саетан, вы разве не видите, что я пытаюсь скрыть от вас чудовищный трагизм реального положения и свою прямо-таки ужасающую внутреннюю пустоту? Кроме так называемой проблемы Ирины Всеволодовны во мне нет абсолютно ничего — я высосанный панцирь никогда не существовавшего рака. Виткаций, этот закопанский загваздранец, хотел было уговорить меня заняться философией — а я и этого не смог. Как только она бросит надо мной измываться, я тут же перестану существовать, и дальше мне придется жить просто по привычке...

С а е т а н. И обжираться хлюстрицами под чуть ли не астральными соусами, в то время как мы тут на себе по десять вшей в минуту давим, не спим от вечного зуда, зимою мерзнем, а летом задыхаемся от жары и почти трансцендентального зловония при постоянном всестороннем раздражении всех чувств, доводящем до безумия; в ненависти, зависти, ревности — которых не выразить словами, а только ударами... (Показывает жестом.)

С к у р в и. Хватит об этом, а то я сам в себе задохнусь, как молодая утка — уже и сам не знаю, что плету — я уже à bout des mes forces vitales[86]. Ты хочешь знать, баран, почему я не могу пойти на уступки? — Да именно потому, что я должен есть лишь то, что должен, к чему приучен; мне нужно мягко спать, быть чистеньким, наманикюренным, чтоб от меня не смердело, как от вас; мне нужно посещать театр, иметь хорошую шлюху как противоядие от этой жемчужины ада, от этой... (Грозит обоими кулаками — вправо и влево.) Даже моя власть и пытки не могут ее сломить, потому что она это любит, именно это она любит, иззвездить её, влянь стурбястую, а сам я с этого ничего не имею — ибо гнушаюсь насилием, как капрал тараканом — и что бы я ни пытался сделать — это лишь обостряет ее наслажденье... (Начиная со слова «лишь» почти поет баритоном.)

С а е т а н. Вот они — существенные проблемы людей, которые нами правят. Ужас — просто слов нет. Вся деятельность такого господина якобы посвящена государству, идее, человечеству — а на деле забота только об этом самом «внеслужебном времени» — беру в кавычки — когда человек раскрывается как есть — сам для себя...

С к у р в и. Замолчи — тебе не понять ужасного конфликта разнонаправленных сил, терзающих меня. Как министр я совершенно сознательно лгу, я вешаю не ради убеждений, а лишь для того, чтобы и дальше жрать этих дьявольски вкусных хлюстриц и каракатиц из Мексиканского залива — да: я обязан лгать и скажу тебе, что сегодня 98%, по подсчетам Главного Статистического Управления, — а статистика сегодня это всё и в физике, и, что еще важнее, в монадологической метафизике с ее приматом живой материи, — так вот, 98% нашей банды делает то же самое отнюдь не из убеждений, а лишь ради спасения остатков гибнущего класса — а что же это за индивиды такие — хочешь ты знать? — да самые что ни на есть заурядные жуиры и бонвиваны под маской всяких там идеек, более или менее лживых. Сегодня люди — только вы, это каждому ясно. Но — лишь потому, что вы — по ту сторону; а стоит вам перейти черту, и вы станете точно такими же, как мы.

С а е т а н (высокопарно). Никогда — да ни в жисть! (Скурви иронически смеется.) Мы создадим бескомпромиссное человечество. Советская Россия это только героическая, но объективно жалкая попытка — хороша и такая — островок во враждебном океане. А мы одним махом создадим цивилизацию, которая будет существовать до тех проклятых пор, пока не погаснет солнце и не вымрет последний гад на этой нашей обледенелой планетке, святой и любимой.

С к у р в и. Вечно ляпнет какую-нибудь гадость: никогда эти голодранцы не научаться ни такту, ни чувству меры. (Кричит.) К писсуару его! (I Подмастерья выволакивают в отхожее место.)

С а е т а н. А сам-то ты знаешь меру, когда думаешь о ней? — ты, свинарь?!

Прокурор съежился и скукожился.

С к у р в и. Я съежился, скукожился, тут мне и полегчало.

Звонит в колокольчик на ручке; с двух сторон из-за балясин влетает охрана.

А подать сюда эту самую Ирину Тьмутараканскую на очную ставку! Почему я так говорю — сам не знаю. Это не шутка — а странная сюрреалистическая необходимость в произвольности.

С а е т а н. Чем он занят, этот монстр? Какими-то оттенками абсолютного кретинизма — вот она, ихняя так называемая интеллектуальная жизнь после обязательных часов эксплуататорской службы в конторах и будуарах.

С к у р в и. Вам не понять, какая прелесть — познать хоть что-то — для такого бесплодного импотента, как я, — какая бездна наслаждения — оправдав свое бытие, эдак-то покопаться в самом себе...

С а е т а н. Да брось ты — Бог с тобой, господин Скурви. Боже, Боже — машинально говорю я. О, пустота этих дней! Чем дано мне ее заполнить?! Разговоры с этим воплощением лжи (указывает на Прокурора) были райским блаженством на фоне тюремного одиночества и вынужденного ничегонеделанья. О, относительность всего! Только бы не измениться так, что сам себя не узна́ю! Кем я буду через три дня, через две недели, через три года... года, года... (Падает на колени и горько плачет.)

Охранники вводят в правый отсек  К н я г и н ю, толкают ее на пол возле табуреток и выходят. В арестантской робе Княгиня прелестна, как юная гимназистка.

С к у р в и (ледяным тоном). Принимайтесь за работу.

Княгиня в глухом молчании пытается шить башмак — крайне неумело и прямо-таки с жуткой неохотой.

Ну-ну — безо всяких там рыданий и спазмов — прошу не останавливаться. Беседа наша была интересной — это факт.

Охранники вталкивают I Подмастерья.

К н я г и н я. Просто ужасно не хочется шить башмаки, и тем не менее — я наслаждаюсь. У меня все переходит в наслаждение. Такая уж я странная. (Надменно.) А вы всегда только «это самое» ради чистой диалектики. Что стоит за понятиями — это для вас жуйня, как говорят поляки. Вас интересуют лишь связи понятий между собой. (Плачет.)

С к у р в и. К примеру, связь понятия вашего тела, точнее: его внутренней протяженности как таковой, с понятием такой же протяженности моего тела — хи-хи, ха-ха! (Истерически смеется, затем коротко рыдает и обращается к Саетану, который только что перестал плакать — а значит, был момент, когда слезы лили все трое — и даже Подмастерья всхлипывали.) Во всем, что вы говорите, меня смущает одно: ваша откровенная забота исключительно о собственном брюхе — какая пошлость! А вот у нас, знаете ли, есть идеи.

С а е т а н. Уже с души воротит от этих разговорчиков — корявых, как мысли кривого капрала на Капри — сия неостроумная острота непосредственно выражает мерзопакостность моего состояния. У вас завелись идейки оттого, что брюхо набито — времени-то полно.

К н я г и н я (пошивая башмачок). Так — вот так —- и вот так...

С к у р в и. Ваш материализм, плоский, как солитер, просто ужасен. Что-то будет дальше, дальше, дальше... Я вам до умопомрачения завидую — вы можете говорить правду, а главное — она вам непосредственно дана в ощущении. Ужасен призрак будущего: человечество само себя сожрет, заглотив собственный хвост.

С а е т а н. Да ты же сам, кошатик, защищаешь только и исключительно собственное и тебе подобных брюхо — банальность этого мне просто рвет нутро, как раскаленная железяка в прямой кишке. Когда мы одолеем брюхо, начнется новая житуха: ах, то ли это вера в разум, то ли — увы — пустая фраза? Повернуть культуру вспять, не потеряв при этом духовной высоты — вот наша цель. Но начать можно, только повалив межнациональные шлагбаумы и межевые столбы.

С к у р в и. А вот в это, Саетан, я — уж извините — не верю. Хотя, может быть, и я только что это говорил. Однако... (Подумав.) Да-с, признаю; мы не в силах добровольно отказаться от своего высокого жизненного уровня — это труднее всего. Парочка святых сподобилась, да ведь никто не знает точно, какое дьявольское наслаждение они при этом испытали — в ином измерении.

С а е т а н. Должна же быть компенсация. Но опять-таки — сколько святых до гробовой доски терпели нечеловеческие муки из-за непомерных амбиций, гонора и давления организации...

С к у р в и. Погодите — позвольте мне подумать — как говаривал Эмиль Брайтер: ведь если б никто не стремился к более высокому стандарту жизни, не было бы ничего — ни культуры, ни науки, ни искусства — первобытно-коммунистический тотемный клан так и прозябал бы без «толчка», без этого смехотворного соперничества, давшего начало власти...

С а е т а н. Знаю — знаю: выловить шестьсот рыб, когда соперник только триста, и бросить штук двести обратно в море.

С к у р в и. Все-то вы умничаете, Саетан — очень уж вы умный. Ну, жил бы себе поживал этот ваш тотемный клан, пока солнце не погаснет — и что с того? Аморфный, бесструктурный, не способный сам себя преодолеть в высшем регистре форм общественного бытия. А вот я, мелкий провинциальный буржуй, я свой будничный денек попросту вырвал у небытия — сначала изучая право, потом долгие годы в соответствии с законом истребляя преступников, просто зверски перед всеми юля в чудесные мои свободные минутки, — и вот теперь этот мой будничный денек — он уж только мой, и добровольно я его никому не отдам. С другой стороны — я уже и не верю в эту новую жизнь, которую вы собрались построить — вот вам и вся моя трагедия, как на сковородке.

С а е т а н. Да плевал я, клал я на твои трагедии! Если падут барьеры между народами, перспективы откроются безграничные. Родятся такие мысли, которые невозможно предугадать сегодня, при нашем уровне знаний об истории законов в неразберихе наших представлений.

С к у р в и. Терпеть не могу, когда вы пускаетесь в спекуляции, превышающие ваш умственный потенциал. У вас нет нужного запаса знаний, чтоб все это выразить. А я располагаю понятийным аппаратом — чтобы лгать. Моей трагедии никто не понимает! Временами это даже странно.

С а е т а н. Трагедия начинается там, где возникает резь в кишках. Эти мысли не доходят у тебя, прокуроришка, до блуждающего нерва — только кора головного мозга, стерва её мать, страдать изволит — эффектно и безболезненно. Для нас же, с нашей точки зрения, эти ваши трагедии вообще — чистая забава, а уж твоя-то и подавно — сплошное наслаждение: после девок и хлюстриц залечь вечерком в кроватку, почитать, помечтать о такой вот ахинее и уснуть, радуясь, что какой-нибудь заплюханной лахудре представляешься этаким интересным господином. О, если б я мог поиграть в такие трагедии! Боже — что это было бы за счастье! Нечеловеческое! Вот было б счастье — если бы мои потроха хоть на миг перестали болеть и за себя, и за все человечество — и-эх!

Весь скрючивается. Княгиня сладострастно смеется.

С к у р в и (Княгине). Да не смейся ты, обезьяна, так сладострастно, не то я лопну. (С нажимом, Саетану.) Это еще предстоит доказать, что ваши потроха болят за человечество. А может, таких случаев вообще в природе не бывает? (Надолго воцаряется тяжкое молчанье. Скурви говорит в тишине, при этом (sic!) чуть слышно далекое танго из радиоприемника.) Дансинг отеля «Савой» в Лондоне. Вот уж где действительно веселье. Разрешите на минутку выйти — я ведь тоже человек. (Убегает влево.)

С а е т а н. Таковский-то себе усё, чего ему охота, а нам дак вон даже...

К н я г и н я. Тихо — не смешите меня. Вы мне своими мыслишками совсем мозги защекотали.

С а е т а н (с внезапной нежностью.) Ох, голубка ты моя! Тебе и невдомек, какая ты счастливая, что можешь работать! Как просят работы эти наши вонючие пятипалые грабли, как всё в нас рвется — хоть ты тресни — к этой единственной отраде. А тут — на́ тебе. Пялься на серую, к тому же шершавую стену, сходи с ума, сколько хошь. Мысли лезут, как клопы в постель. И пухнет изнуренное нутро от тоски великой, страшенной что твоя гора Горизанкар и смердящей как римская Клоака Максима, как Монт Экскремент из фантастической повести Бульдога Мирке, — от скуки, ноющей как нарыв, как карбункул, — снова мне, сучий хрящ, слов не хватает, а поболтать охота, как кой-чего другого. Э — да что там, и так никто не поймет. Уже и предсловесной слизи больше нету. На кой тут что-то выражать? Чего ради рычать, и рыдать, и кишки рвать — и так, и сяк, и наперекосяк? Зачем? зачем? зачем? Ужасное слово — «зачем». Воплощение пустопорожнейшего небытия — итак: зачем? Когда работы нет и ничего из этого не выйдет. (Ползет к решетке. Княгине.) Ваше сиятельство, любимая, нежнюшечка ты моя единственная, кошечка моя трансцендентальная, метапсихическая тёлочка богоземная, уж такая ты приятненькая, сметливая да шустренькая, ну прям как мышка — ты и понятия не имеешь, до чего ты счастлива: у тебя есть работа! — это единственное оправдание живого существа, при всем его убожестве, начиная с пространственно-временной ограниченности.

К н я г и н я. Метафизикация труда — лишь переходная стадия в решении данной проблемы. Великие мужи Египта в этом не нуждались, как не будут нуждаться и люди будущего. Этот воет от тоски по работе, а меня она всю изломала — вдвойне — как духовно, так и физически. Вот вам и всеобщая относительность — всё из-за этого еврея Эйнштейна — я-то давно уж...

I  П о д м а с т е р ь е. Вишь ты, стыдо́бище, флёндра невлюбе́нная! Во треплярва интеллигентская! Уж я-то знаю: теория относительности в физике ничего общего не имеет с относительностью этики, эстетики, диалектики и так далее! — тамда-лямда, трамбда-лямбда! Хорош звездеть — и так уж от этой болтовни блевать тянет. И-эх! И-эх! — Саетан, — хватит чушь молоть — мы вон и в тот раз всё горлопанили — а теперь чего?! Сколько ерунды набазлали, а тут нам возьми да и дай понюхать работенку с такой нежданной стороны, что она стала нам желанна, быдто слободская блярва в выходной. Я привел такое сравнение, потому как на холеных светских дамочек я уж давно — в половом смысле — того, не реагирую — слишком уж они красивы, тарань ихнюю рвань замшелую — красивы и — не-дос-туп-ны! (Повторяет с горечью.) Мне одинаково охота — и сапоги пошить, и простых, вульгарных девок! (С безумным спокойствием.) Дайте работу, не то хуже будет! (С беспросветным смирением.) Но кому какое до всего этого дело? Я говорю это с беспросветным прям-таки смирением, не понятным сегодня никому.

С к у р в и (поёт за сценой).

Мне фамдюмонды надоели И девок хочется простых. Хочу испробовать я в деле Босую девку, чтобы «Ы-ых»[87]!

Княгиня прислушивается очень внимательно.

I I  П о д м а с т е р ь е (I Подмастерью). Неча перед опчеством, как перед матерью родной, нюни распускать и ему молиться, оно тебя не тока что не поймет, а еще и в пыздры наваляет за эдакие ребяческие штучки, и-эх!

С а е т а н. О, не говорите этого «и-эх!» — не произносите его больше, ради Бога! Не напоминайте мне о временах, что навсегда миновали — «o, ma mignonne»[88] — у меня просто кишки от тоски разрываются, и это так похабно, так неэстетично, что жуткий стыд берет и такое к себе отвращение, точно я живой таракан у самого себя во рту. И-эх, и-эх!

На кафедру взбегает  С к у р в и, как-то странно застегиваясь (пиджак и кое-что еще) и потирая руки. Княгиня смотри на него испытующе, почти демонстративно.

С к у р в и. Холодно, зараза, сквозняки в здешних сортирах — аж мороз по коже. Но зато уж после всего этого жареные мексиканские каракатицы еще вкусней покажутся. (Вдали звучит танго.) А перед тем зайду-ка на каточек, где музычка играет. (Принюхивается.) Кошмарная вонь — это души их гниют в гнусном бездействии — совсем уж, верно, разложились — как прокисший мармелад.

К н я г и н я (принимаясь за работу). Это садизм — моя сфера, моя территория.

С к у р в и (истерически). Проклятье, как же мне все это осточертело! Если вы и впредь будете такие как есть, прикажу вас всех перевешать без суда и следствия! Иначе на кой мне власть? А? Вот это был бы спорт — ну, рекорд — так уж рекорд. О власть, ты — пропасть; как благоухают твои катастрофальные соблазны.

К н я г и н я (перестает шить башмаки). А знаешь, Скурви, Скурвенок ты мой бедный, недотёпистый: только сейчас ты мне начинаешь нравиться. Я должна пройти через всё, познать все темные стороны жизни, все клоповники души, но и недосягаемые хрустальные вершины бездонных лунных ночей...

С к у р в и. Что за собачий стиль — это ж просто скандал...

К н я г и н я (ничуть не смущаясь). Как истинную аристократку, меня ничем не огорошить — таково наше замечательное свойство. Так вот, я должна пройти и через тебя, иначе жизнь моя будет неполной. А потом, когда они (указывает на Сапожников башмаком, который держит в левой руке) тебя посадят, и ты будешь гнить в застенках, подыхая от вожделенья ко мне, — да-да, ко мне: вожделеют к кому-то, именно так, — а еще к большой кружке пива с тартинками в ресторации Лангроди, — тогда-то я и отдамся Саетану на вершине его власти, а потом вон тем чудесным вонючим паренькам — этим запредельным сапожных дел загваздранцам — и-эх, и-эх!! И вот тогда-то наконец — ах! — буду я счастли́ва, а ты за юбку жизнь отдашь, и за пол-литра пива — живецкого.

С к у р в и (помертвев от вожделения). Я просто помертвел от адского вожделенья, перемешанного с гнуснейшим отвращением. Я и впрямь как полный до краев стакан — боюсь пошевелиться, чтоб не расплескаться. Глаза на лоб лезут. Все у меня пухнет, как кочан салата, а мозги —как вата, мокрая от гноя потусторонних ран. О, бездонный в своей дикости, недосягаемый соблазн! Первое беззаконие во имя законной власти. (Вдруг рычит.) Вон из тюрьмы, обезьяна метафизическая! Будь что будет: попользуюсь разок, а там — хоть подохнуть от тоски, как подыхали злодеи, вскормленные герцогом дез Эссантом у Гюисманса!

К н я г и н я. Мы говорим, как обычные люди, а не как ослепленные идеями идеоты. Обычный человек добровольно не пойдет на снижение своего жизненного уровня, разве что ему по морде съездить как следует. Таков и ты, Скурвеночек мой бедный. Об идейной стороне дела я уж и не говорю, речь только об этом утробно-распаленном, мясоублажающем базисе, из которого наше «я» выползает, как ядовитая кобра в джунглях.

С к у р в и. У вас, у женщин, все иначе...

К н я г и н я. Пойми ты: бытие ужасно. Лишь на малом его отрезке видимость социального бытия нашего вида создает иллюзию смысла жизни в целом. Все сводится к взаимопожиранию популяций. Наше существование стало возможным только благодаря равновесию сил противоборствующих микроорганизмов: кабы не их борьба да было б что жрать — один вид микробов за пару дней покрыл бы земную кору слоем в шестьдесят километров.

С к у р в и. Ах, до чего ж она все-таки умна! Это меня безумно возбуждает. Иди ко мне какая есть — немытая, пропитанная тюремным духом и ароматом.

Княгиня встает, с шумом отбрасывает башмак и стоит, как-то странно задумавшись.

К н я г и н я. Как-то странно я задумалась — чисто по-женски: я думаю не мозгами — о нет, отнюдь. Во мне мыслит чудовище, которое у меня внутри. Однако, Роберт, быть может, я тебе вовсе не отдамся — так будет лучше: чудовищней, а для меня так даже и приятней.

С к у р в и. О, нет! — Теперь уж ты не властна! (Сбрасывает пурпурную тогу.) Теперь я лопнул бы от ярости.

Бежит к решетке и лихорадочно тычет ключом в замок.

С а е т а н. И вот такими-то делишками, такими-то проблемками занята эта банда — eine ganz konzeptionslose Bande[89] — пока мы тут как падлы загибаемся без работы. Технические исполнители несуществующих идей — вот оно что! А мне вот даже баб, и тех неохота — все затмевает чистая страсть фабриковать, производить что угодно.

П о д м а с т е р ь я (хором). И нам тоже! И нам!

I  П о д м а с т е р ь е. Проблему механизации пока что оставим в стороне: машина — это слишком банально, все известно наперед — доконали-таки ее футуристы — бррррр... дрожь берет при одном звуке слова «бульдозер»!

I I  П о д м а с т е р ь е. Машина — это просто продолжение руки — случилась, понимаешь, эдакая акромегалия — что ж, будем резать по живому. Кстати, в рамках нашей концепции торможения культуры часть машин будет уничтожена. Изобретателей ждет кара — смерть под пытками.

С а е т а н (внезапно озарен новой идеей). Я просто озарен изнутри новой идеей! Эй, ребята: давайте-ка выломаем эти жалкие детские балясинки и как тысяча чертей накинемся на работу. Эй, ухнем! Уж мы им устроим кустарно-обувной демпинг! Либо мы ща — либо нам ша! Э-эх! И-эх!

I  П о д м а с т е р ь е. А что дальше?

С а е т а н. Хоть пять минут, а поживем за десятерых, прежде чем нас закуют и изувечат. Однова живем — не думай ни о чем. Даешь насилие рабочих над работой — ох! И-эээ-хх!!

П о д м а с т е р ь я. А чего, давай! Либо — либо! Стурба ваша сука! Пущай! Нам-то чё? Хе-хе!

И тому подобные восклицания. Бросаются все трое, как голодные звери, и, «в один миг» раздолбав балясинки и дорвавшись до табуреток, инструментов, башмаков и рулонов кожи, в лихорадочном исступлении принимаются за работу. Тем временем Скурви накидывает свою пурпурную тогу на тюремную робу Княгини — ту самую, в которой она выглядит исключительно аппетитно; они вдвоем на кафедре, он сжимает ее в объятьях. Любезничают.

С к у р в и (нежно). Ты мой малютка прокурорчик, я ж тебя насмерть залобзаю.

К н я г и н я (на фоне сопения Сапожников). Судя по твоей шуточке, в эротике ты довольно мерзок. Молчи хотя бы — я люблю, когда все происходит безмолвно — зловещая церемония унижения самца в абсолютной тишине: тогда я вслушиваюсь в вечность.

С а е т а н (кряхтя). Так — давай дратву — бей — так ее разэдак...

I  П о д м а с т е р ь е (пыхтя). Вот — скорее — эх, гвозди́ её — кожицы дай-кась...

I I  П о д м а с т е р ь е (посапывая). Клепать её — колотить — вот эдак-то — тачать её — лупить — дуплить — едрить...

Что-то безумное есть в их движениях.

С к у р в и (подчеркнуто). Посмотри-ка, дорогая, что-то слишком уж остервенело они взялись за работу. В этом есть нечто дьявольское. Я подчеркиваю, я акцентирую. Это что же — начало новой эры или как — черт побери?

К н я г и н я. Тише — смотри — какая жуть! И я только что была среди них. Ты меня освободил, любимый!

С а е т а н (оборачиваясь к ним иронически). Слишком остервенело работают? Обезьянская рожа! Тебе такого ни в жисть не понять. Это ж работа!

В диком вдохновении лупит молотом; Подмастерья вырывают друг у друга инструменты. Всё у них валится из рук. Они глухо и блаженно стонут.

Ох ты, труд, ты наш труд! Хрен тебе за нас дадут! Долой все это! Прочь идиотские пророческие вирши! Я — реалист. А ну-кась, дай гвоздо́к. О гвоздь, удивительный гость сапога — кто твою необычность оценит? О, странный мир труда! Есть ли высшая мера необычайности?! Принимая во внимание всю гнусную обыденность последнего — то бишь труда. Колоти! Молоти! Рука-то легка — да кишка тонка — режь, бей, шевелись — уж потом хвались — а посадят на́ кол — так и это жизнь. Привязались эти собачьи вещие рифмы, пес бы их драл!

I I  П о д м а с т е р ь е. Тут подбей — там поддай — дратва, хратва — братцы, рай! Вот он — готов сапог! О, сапог — да ты ж мой бог! Весь мир осапожним! Всю вселенную засапожним и усапожним — загваздрать её тудыть — уж все едино. Тюрьма не тюрьма — перед работой никому не устоять. Труд — величайшее чудо, метафизическое единение множества миров — труд это абсолют! Уработаемся насмерть ради вечной жизни — а вдруг? Как знать, что там, в нашей работе, на самом дне!

I  П о д м а с т е р ь е. Все во мне ходуном ходит, как в какой-нибудь паровой турбине мощностью в мильон конских и лошадиных сил. Не нужно ничего — ни баб, ни пива, ни кина, ни радива, ни всяких там этих мозгоедов и мозгокрадов! Труд сам по себе — высшая цель: Arbeit an und für sich[90]! Хватай, лупи — тащи, коли! Сапог, сапог! — рождается, возникает из неведомого сапожиного прабытия, из вечной чистой идеи сапога, витающей над реальной пустотой, порожней, как сто миллионов амбаров. Куй, куй — кованным сапогам износу нет — вот истина, причем абсолютная. Истин на свете ровно столько, сколько сапог, а одних только определений сапога столько же, сколько единиц в числе «алеф один»! Господи — вот так бы до конца дней наших! И девок никаких не надо — Arbeit an sich! — к Аллаху их! Век бы пива не лакать — неча мо́зги полоскать. Счастье прёт из потрохов — все свободны от грехов. Работа адова — кипи: весь мир обуем в сапоги. Пусть неказист он, мой стишок — сапог рождается, сапог!!

С к у р в и. Вишь ты! — раз, два — и сколотили новую метафизику. Иринка, это опасная бомба — снаряд нового типа, летящий из потустороннего небытия. И я, Иринка, я впервые в жизни испугался. Может, и вправду «грядёт» — в кавычках — новая эпоха: «о, гряди же, юный век», — как писали старые поэты. (Глупеет на глазах.)

К н я г и н я. Я наслаждаюсь их иллюзорной радостью от великой му́ки — их муки, а не моей — их беспримерным тупоумием — наслаждаюсь, как лесной медведь пчелиным медом. Мы с тобой два преступных по сути мозга, соединенные половым спазмом без посредства иных органов...

С к у р в и. Но ведь так не будет, не только так будет? А? — не будет? Всё будет? Скажи «да», скажи «да», или я умру!

К н я г и н я. Быть может, сегодня ты познаешь все мое ничтожество, быть может...

Сапожники урчат и сопят, работая без передышки.

С к у р в и. Смотри — они работают все лихорадочней. Наконец-то сбывается нечто действительно жуткое, чего не мог предвидеть ни один экономист в мире. Милая, сегодня я умру, мне уже ничего не нужно кроме тебя.

К н я г и н я. Все это только слова — именно сегодня ты начнешь по-настоящему жить. Но кому какое дело до этого? Все так ничтожно. Ах — вот бы заполнить мир собой, а там — хоть бы и сдохнуть под забором — вырыв нору.

С к у р в и. Опять чисто художественные проблемы — долой всю эту паршивую жажду формы и содержания. Смотри: дикий, а вернее — одичавший труд, чистый, первобытный инстинкт, такой же, как инстинкт, повелевающий жрать и размножаться. Бежим отсюда — я вот-вот с ума сойду.

К н я г и н я. Посмотри мне в глаза.

С к у р в и (как ребенку). Но, дорогая, необходимо остановить этот натиск труда, любой ценой — это и в самом деле переходит всякие границы; если психоз распространится, они развалят мир, снесут все искусственные преграды и вытащат бедное, выродившееся человечество из-под гниющей падали разъеденных раком идей — на потеху обезьянам, свиньям, лемурам и змеям — еще не деградировавшим видам наших пращуров.

К н я г и н я. И что ты плетешь — черт тебя дери?

С к у р в и. Ох, человечество — до чего ж оно бедное-разнесчастное! Мы сумели над ним возвыситься, на миг осознав и свое личное ничтожество, и всю бесценность наших чувств. В эту неповторимую, безвозвратно уходящую минуту ты, каналья, должна составить со мной неразрывное целое!!

Целует Княгиню и свистит, сунув два пальца в рот. Влетают  м о л о д ч и к и  Гнэмбона Пучиморды — те же, что в первом действии, под предводительством сына Саетана.

Взять их! Раскидать по принудленивням! Не давать ничего делать! — ни-ни — это самая страшная, непредвиденная угроза для человечества. Arbeit an sich! — нам не надо их. И никаких инструментов! — ясно? — пускай хоть вдрызг извоются.

Солдатня набрасывается на Сапожников. Происходит жуткая свалка, после которой приспешники Пучиморды, заразившись бациллами труда, тоже принимаются за работу — просто-напросто «осапожниваются». Саетан заключает сына в объятья, они начинают работать вместе.

С к у р в и. Видишь, проказница, — все ужасно. Они осапожнились. Моя гвардия перестала существовать. Того и гляди, это перекинется на город, и уж тогда капут.

К н я г и н я. Ты совершенно забыл обо мне...

С к у р в и. Тут и сам Гнэмбон Пучиморда не поможет — его солдаты словно втянуты в шестеренки какой-то адской машины... Да он и сам уработается насмерть, подписывая бесконечные кипы bumag...

К н я г и н я. Ах, какой чудный фон для нашей первой и последней ночи! — нашей — бедной ты мой Скурвёнок! Di doman non c’è certezza[91]! Завтра я уже, наверно, буду «ихняя» — в кавычках говоря — а тебя отправят догнивать в гнилой темнице — как прогнившую гнилятину. Зато сегодня, одержимый этой мыслью, этим ощущением, что все в последний раз, ты достаточно безумен, чтобы меня раскочегарить в звезду-самку первой величины на небосклоне подземных миров великой Туши Бытия.

С к у р в и. Ну и влип же я....

А те всё бормочут — разумеется, в паузах, когда никто ничего не говорит.

С а п о ж н и к и  и  С о л д а т ы. Бей, шей, коли, стурба его сука; сапог есть вещь в себе!

С а е т а н. В сапоге — весь абсолют! (С непольским ударением на последнем слоге.) И ни чуд тебе ни юд! Символический сапог — вечной правды оселок!

С к у р в и (Княгине). А здо́рово — знаешь, не так уж все это глупо, весь этот символизм. Я знаю, что обречен, но пред тобою не дрогну. Разве что тут же — на этом самом месте — тебя и порешу. А как было бы жалко, как жалко — этого те́льца, этих глазок, ножек — и этих невероятных мгновений.

К н я г и н я. Пошли уж, стурба твоя сука. Таким я тебя и хотела — на фоне этой адовой работы ради самой работы. Но откуда, черт возьми, это багровое зарево?

Багровое зарево действительно заливает сцену. Скурви и Княгиня убегают за правую кулису. Безумная работа кипит.

Конец второго действия

**Действие III**

Сцена как в I действии, только без портьеры и окошка. В полукруглой авансцене есть нечто планетарное. Остался только высохший ствол дерева, на котором горят сигнальные (?) — красные и зеленые — фонари. Пол застелен великолепным ковром. В глубине, внизу, далекий ночной пейзаж — огоньки людских жилищ и полная луна. С а е т а н  в роскошном цветном шлафроке (борода подстрижена, волосы причесаны), стоит посреди сцены, поддерживаемый  П о д м а с т е р ь я м и, облаченными в цветастые пижамы и прилизанными на прямой пробор. Справа — в собачьей или кошачьей шкуре (только чтоб весь, кроме головы, был в шкуре, а на голове — розовый шерстяной капюшон с колокольчиком) — спит, свернувшись клубком, как пес, Прокурор  С к у р в и, прикованный цепью к дереву.

I  П о д м а с т е р ь е (поет отвратительным, кобелиным голосом).

Песенка звучит во мне: Вдаль скачу я на коне, Кровь играет в организме И бурлит во имя жизни. Слышен звонкий детский смех. Перевешать надо всех!

I I  П о д м а с т е р ь е (поет так же, как I).

Красный цвет царит в природе, Кровь во мне — ну так и бродит, Так и прёт из сердца стих. И не помню глаз твоих[92]...

I  П о д м а с т е р ь е. Чьих, чьих?

С а е т а н. Ладно, ладно. Хватит уже этих куплетов — меня от них мутит. Теперь-то я все понимаю: внутренняя жизнь, она ж лавиной несется мимо, как стадо африканских — непременно африканских — газелей. Я способен заново пережить все — во всех временах — я, старик, одной ногой уже стоящий в гробу. Я прошел ускоренный курс жизни — от и до — годочков так с семи, а теперь у меня в башке все перемешалось. Ни за что бы не поверил, что так быстро в человеке более-менее цельном могут, того-этого, произойти столь резкие перемены.

I  П о д м а с т е р ь е. Хо-хо!

I I  П о д м а с т е р ь е. Хи-хи!

С а е т а н. Я вас умоляю — только без этих штучек в духе так называемого «нового театра», а то меня стошнит на ковер, прямо тут, перед вами, и баста. Возвращаясь к вышесказанному: выдержать существование, хоть немного поняв его суть и не сойдя с ума, не одурманив себя религией или общественной суетой, — задача почти сверхчеловеческая. Что уж говорить о других! Я словно клоп, который вместо живой буржуйской крови опился малиновым соком идеек, перемешанным с концентрированной серной кислотой ежедневной лжи.

I  П о д м а с т е р ь е. Тише, мастер, — давайте лучше вслушаемся в наше внутреннее благоголосие, в комфорт свободного бытия внутри нашей собственной психики — словно в футляре — и-эх!

I I  П о д м а с т е р ь е. Вот только не иллюзия ли то, что мы и впрямь строим новую жизнь? Может, мы только сами себя обманываем, чтоб нынешний комфорт оправдать? А может, нами правят силы, суть которых нам неведома? И в их руках мы лишь марионетки? Кстати, почему именно «марио», а не — скажем — «касько»-нетки? А? Вопрос наверняка останется без ответа, но и в нем, несомненно, что-то есть.

С а е т а н. Само собой, есть. А вот молчать я не буду, гнизды вы дремучие. Я эту твою мысль, ты, так называемый второй подмастерье, а теперь, в настоящее, сиречь нынешнее время именуемый Ендреком Совопучко, помощником величайшего творца новой... э-э, едрёнать, не будем в титулы играть, — так вот, я говорю, что эту твою мысль, я давно обмозговал и сознательным усилием воли преодолел. Нельзя во всем сомневаться — это давний порок, унаследованный нами от времен нищеты, бесчестья и умственной неполноценности. Щас мы должны изжить его, а не разводить тут антимонии — мы ж не волюмпсаристы какие семнадцатого века, мы ж не уроды, фальшивые по своей соглашательской сути — не какие-нибудь коммунизированные недобуржуялые стервентяи, неуклюже скользящие по заплеванному демократами паркету. И — в помойную яму всю эту веру в тайные силы и организации, как масонские, так и все прочие — это в нас отзываются пережитки религиозно-магических суеверий. Только тот — мужчина, кто от своего жизненного уровня отречется, вместо того чтобы его повышать до бесконечности, пока не лопнет. И с чего это в истории все рано или поздно лопается, а не едет себе в грядущее как по маслу — по смазке разума: но таков уж закон дискретности...

I I  П о д м а с т е р ь е. Аж башка трещит от вашей говорильни, пурва ей сучаре в пасть! А вы, мастер, изменились — не отрицайте. Вектор трансформации тот же, что и у меня, хотя качественно перемены различны. Выходит, правильно заметил в свое время бывший прокурор: мы такие как есть, пока мы по ту сторону, а как на эту переметнемся, станем точно такими же, как они. Тайные же силы, как и тайные люди, по-прежнему существуют, только качественно от явных не отличаются — такова уж разница времен — и-эх!

С а е т а н. Все это только внешняя видимость — на фоне стремительных перемен в нашем обществе.

I I  П о д м а с т е р ь е (спокойно). Не могли бы вы излечиться от этой своей собачьей, «а ля мужик», старопольски-пророчески-напыщенной манеры выражаться, а главное — от самого́ этого бесконечного словоизвержения?

С а е т а н (спокойно, твердо). Нет. И как Ленин, слуга своего класса, отличался, несмотря на все индивидуальное величие, от Александра Македонского, фантастически олицетворившего личную мощь человека, так я отличаюсь от этой собаки! (Указывает на спящего Скурви.) Однако не время болтать — время дело делать — само ничего не сделается, разломи ее в четыре, эту треклятую действительность — эх!! Прошли блаженные времена идей — когда можно было, того, майонезы жрать и большевиком идейным быть, чтобы при нужде теми же идеями в лоскуты утешиться — что вот мол, хоть и в экскременталиях гниёшь заживо, ан все ж-тки кой-что да значишь. Новой идеи уже не родит никто — новая форма общественного бытия сама себя выпушит, выгнусит, выдавит в диалектической изжоге, в боренье всех потрохов человеческого котла, на крышке которого, на самом краю, у предохранительного клапана восседаем мы — некогда флендроломы гугнявые, а ныне — творцы, только вот что-то не радостные, пёсья их сучара захромо́ленная.

П о д м а с т е р ь я (вместе). Как же нам осточертела ваша ругань — впору выть. Кулёр локаль, сучье ухо! Получилось в унисон — эх, интуитивно: мы и дальше так могём, ежли не противно.

С а е т а н. Перестаньте, Бога ради. Хватит уже, хватит...

С к у р в и (потягиваясь во сне и урча). С удовольствием был бы сапожником до конца дней своих. О, как призрачны все так называемые высшие претензии к самому себе: карабкаешься ввысь, а потом кубарем на дно, в кровь расшибая рожу. Ах — а уж после — всплыть на великие хляби небесные, на вселенскую эту долбень-колотень — ein Hauch von anderer Seite — потустороннее дуновенье. Метафизика, которую я до сих пор презирал, хлынула из всех прорех бытия. Au commencement Bythos était[93] — бездна хаоса! Ах, что за чудная, бесподобная вещь — хаос! Нам не дано постигнуть, что́ есть хаос как таковой, хотя весь мир, по сути — один сплошной хаос. Хаос! Хаос! В наших убогих загонах для обобществленных животных вечно какой-нибудь среднестатистический порядочек норовят навести. Ах — какая жалость, что я не развивал свой ум чтением соответствующей философской литературы — теперь уж поздно — рассудком я освоить этого не в силах.

Сапожники прислушиваются. Пока Скурви разглагольствует, I Подмастерье подходит к нему, подняв с земли огромный, весь из золота, топор, который у него ausgerechnet[94] валялся под ногами.

I I  П о д м а с т е р ь е. Ты куда это, паскуда ползучая, хрувно́ собачье?!

I  П о д м а с т е р ь е. Укокошить бы его во сне. Чтоб не мучился. А то больно хорошие, мля, сны ему стали сниться. У меня как раз тут ausgerechnet под ногами топорик завалялся — весь из золота — хе-хе-хе... (И т. д., и т. п., смеется слишком долго, выводя смехотрели чуть не до последнего издыхания.)

С а е т а н (грозит ему огромным маузером, который вытащил из-под шлафрока). Ты что-то слишком уж долго смеешься, выводя свои трели чуть не до последнего издыхания. Ни шагу дальше!

I Подмастерье закругляется.

Он должен извыться от вожделенья у нас на глазах — на глазах вдохновенных мстителей за похоть.

Со стороны города, немного справа, входит  К н я г и н я, одетая в прогулочный жакетный костюм.

К н я г и н я. Выбралась вот по своим делишкам. У меня тут в сумочке всякие интимные вещички — помада и прочие финтифлюшки. Я вся такая женственная, что даже как-то стыдно — от меня несет чем-то этаким, знаете ли, очень неприличным и заманчивым. О — нет ничего более отвратного — через «о», — чем женщина, как справедливо заметил один композитор, и в этой отвратности своей более приятного. (Изо всех сил бьет Скурви хлыстом, тот с диким визгом вскакивает на четыре лапы, ощетинивается и рычит.) А ну-ка встать, быстро! Твои спурвялые мозги вконец закупорились в этом бардагане! Я буду поедать твой мозжечок, посыпая его сухариками рафинированных терзаний. Вот тебе порошок — он невероятно повышает сексуальную выносливость: удовлетворения тебе уже никогда не испытать. (Бросает порошок. Скурви его мгновенно заглатывает, после чего закуривает и с этих пор постоянно дымит, держа папиросу в правой лапе. На две лапы он уже ни разу не поднимется.)

С к у р в и. Долой эту Сатаницу вавилонскую! — Супер-Бафометину, Цирцею сисястую, балядеру риентальную, долой эту...

Глотает еще один порошок, который дает Княгиня. Она «приседает» — как говорят — перед ним на корточки, он кладет голову ей на колени, виляя задом.

К н я г и н я (поет).

Ах, усни, мой песик, сладко спи, Уж тебе не встать на две ноги! Тебя я сладостно замучу, Кобелёк мой невезучий. Не отдамся, как бы ни скакал, Мозг твой превратится в чей-то кал — Пусть уже не в твой — ну и не надо — Только в этом вся моя отрада!

Поглаживает Скурви, тот, засыпая, урчит.

С к у р в и. Проклятая ба́бища — какая чудесная жизнь была впереди, пока я ее не знал. Надо было послушать совета этих окаянных гомосексуальных снобокретинов — и раз навсегда избавиться от тяги к женщинам — «кровавой женственности алчный змей питает восторг голубых палачей». Ох, ох — как же унять эту окаянную, ужасную, неуемную скорбь! Я ж насмерть извожделеюсь — и что тогда?

К н я г и н я (поглаживает его). Вот-вот, вот-вот. (Поглядывая на остальных.) Я пёсика заглажу так, чтоб взмок, — он тут же станет весел как щенок. (Скурви.) Терпи, дворняжка, золотко мое — ах, у меня иначе нет охоты ни на что.

Скурви засыпает.

С а е т а н. Неужели же эта проклятая безыдейность так и затянется до конца света? Как все ужасно — пустота в голове, прорва будничной работы — и никаких, ну ни малейших, идейных иллюзий! Знаете, что я вам скажу? — это просто страшно: лучше было вонючим сапожником быть, идейками себя тешить и среди миазмов сладко грезить об их воплощении, чем сидеть теперь в шелках на верхах лакейской власти — потому как лакейская она, стурба ейная сучара. (Топает ногами — продолжает чуть не плача.) Засучить рукава до горла́ и чисто творчески трудиться на благо общества. Это ж скука смертная! А жить для себя уже не могу — не отсмердеться мне уже от тех моих годков смердючих. Перед вами-то весь мир! Вы после работы еще можете жить — а я что? Только и остается — упиться вдребузину, кокаином занюхаться или черт его знает чего еще. Ругаться, и то неохота. Я даже ненавидеть никого не в силах — только себя ненавижу — о ужас, ужас: в какие дебри, на какие кручи душевные завела меня треклятая амбиция, подлое стремление непременно что-то значить на этой нашей планетке, святой, шарообразной и непостижимой!

К н я г и н я. Трагедия пресыщенности перезрелого счастливца, дерзнувшего осчастливить несчастное человечество! Мир, где мы живем, дорогой мой Саетанчик, это нагромождение абсурда, бессмысленная схватка диких монстров. Если бы всё на свете взаимно не пожиралось, какие-нибудь бациллы в три дня покрыли бы ее слоем в шестьдесят километров.

С а е т а н. А эта опять за свое, быдто какой пепугай дрессированный. Знаем, знаем. Только тут, сударынька, уж не до всяких там популярных лекций-шмекций — это настоящая трагедия. О, когда же, когда индивидуум забудет о себе, став деталью совершенной общественной машины? О, когда он наконец перестанет страдать от своей самобытности, вечно выпяченной и выпученной в никуда, как какая-то трансцендентальная задница? — Остаются только наркотики, ей-богу!

I  П о д м а с т е р ь е. До этих самых пор я терпеливо слушал вас, жалкий вы человечишка, — из уважения к вашему возрасту, но уж больше мне невмоготу!

I I  П о д м а с т е р ь е. Я тоже не могу — застебал, хапудра гирлястая!

I  П о д м а с т е р ь е. Хватит! (Саетану.) Вы, мастер, невзирая на свои заслуги, — обыкновенный старый хрен — что вам наша жизнь молодая? А мы ведь не навоз, как вы, мы — самая сердцевина будущего. Я кой-как говорю, потому как вдохновенья никакого нету — пущай во мне само болтает, как хотит. Но вот чего бы я хотел сказать: вы тока нас не расхолаживайте этой своей старорежимной, никому не нужной, дешевой аналитикой, основы которой заложены еще буржуйскими холуями Кантом и Лейбницем. Вон вместе с ними обоими — на ту сторону баррикады — и-эх, и-эх!

С а е т а н. Да тихо вы там, янгелы небесные! Это ж чистейшей ковшастой воды диалектика. Да уж, изумили вы меня до крайности! Выходит, я, по-вашему, гожусь только на выброс, как стертый болт, как буржуйский пуффон, как биде какое-нибудь разбитое? Аа-а?

I I  П о д м а с т е р ь е (твердо). Выходит так. Ваш язык вконец изгажен всякими буржуйскими пакостями. Вы уж и сказать-то ничего по-людски не можете. Компрометируете тока революцию.

С а е т а н. Люди всей земли! Что мне приходится терпеть!!

I  П о д м а с т е р ь е. Тихо там! — Теперь-то я знаю, что за ентуиция мне ентот золотой топор ausgerechnet подсунула. Да мы ж вас изрубим как жертвенную корову! А чтоб его, до чего мне, сука, это хрюсло обрыдло! Раскромсаю, растопчу! Ендрек — подержи халат!! (Сбрасывает пижамную куртку.)

К н я г и н я (исключительно, на диво аристократична). Браво, Юзек, браво! Вот идея так идея — как собаке кошкин коготь из верблюжьего мешка. Я и не чаяла нынче так позабавиться. Только подыхайте помедленней, Саетанчик, — так мне больше нравится, знаитя о батюшки. Я вам покажу, любезные, как надо бить, чтоб рана была смертельной, а агония — долгой, хе-хе.

I I  П о д м а с т е р ь е. Не распаляй ты меня, баба, до белого каления своими выкрутасами, а то ведь...

К н я г и н я (ласково). Но-но, тише, Ендрек, тише.

I  П о д м а с т е р ь е. Ну, мастер, готовьтесь к смерти, или как оно — забыл я, как оно там по-сапожницки-то. Смир-р-но!! (Командует по-военному.)

С а е т а н. Но, Ендрек, дорогой, любимый мой первый подмастерье, это ж всем нонсенсам нонсенс, это ж будет несмываемое пятно на целомудренно-чистом теле нашей революции, зачатой почти непорочно. Я ведь ни на что не претендую, я согласен быть живой мумией — уже даже не отцом переворота, а эдаким добрым дедушкой. Рта не раскрою — буду сидеть себе в коробочке да молчать в тряпочку — что твой забальзамированный символ в квадрате. Тишком-молчком — как мышка под метлой — это я прибаутками пытаюсь вам зубы заговорить, да похоже, не очень-то получается, хотя Бой-то вон немало тяжких лет таким манером общественность задабривал, ну и, стурба его сука, наконец-таки задобрил. Клянусь всеми святыми, я заткнусь навеки, молчать буду, как розовый куст благовонный — только, Бога ради, не убивайте!

I I  П о д м а с т е р ь е. А что для тебя свято, дед, если ты своим длинным языком наши основополагающие иллюзии — нет, не иллюзии — что я мелю? — отсохни мой язык! — становой хребет нашего мировоззрения перебить невзначай задумал, проповедуя старческую диалектику пустоты и мрака — плод жизни, прожитой за бортом бытия?! Что для тебя свято?!

С а е т а н. Я цепенею от одной мысли...

I  П о д м а с т е р ь е. Цепеней сколько влезет, цепень хренов, — все едино не поможет. Читай свои буржуйские молитвы. Не мог ты больше быть живым вождем — ты себя безвременно ухайдакал этими клятыми папирусами и безудержной болтовней, а потому, котик, ты станешь священной, но мертвой мумией! И тогда мы остатки твоей былой силы вылущим и создадим миф о тебе: мы тебе не позволим при жизни разлагаться на глазах толпы в эдакое ховно собачье — от слова «ховать» — твоя мощь должна быть вовремя законсервирована, но — в трупе, чтоб, милок, ты не успел скомпрометировать себя — и нас тоже. Раз уж не сумел до конца своих дней дожить, как прочие велигие — и велиджявые — старцы мировой истории, то хошь-не хошь, а надо с тобой кончать. Подставляй башку, мастер — нечего на болтовню время тратить.

С а е т а н. Откуда он все это знает, сопляк зафуяренный? Видно, и впрямь не судьба мне больше чушь молоть. Хотел я перед вами исповедаться, как перед людьми, одной ногой в могиле стоя, но вы ведь тут же готовы человека топором по лбу тюкнуть.

Кто-то невидимый вешает сзади портьеру, как в I действии.

К н я г и н я (похотливо, радостно). Вот сюда ломони: в эпистрофей — во второй шейный позвонок — а потом Саетанчик еще долго-долго будет языком ворочать — ах, до чего ж мне это нравится — больше всякого йохимбина! Да рубите же его!

I I  П о д м а с т е р ь е. И зарубим — клянусь всеми голыми девками. Это, конечно, не лучшая клятва на свете, но что поделать.

Внезапно с левой стороны слышится звук гармошки, и что-то явно лезет из-под портьеры.

I  П о д м а с т е р ь е. Кой черт? Сегодня вечером мы никого не ждали! Шлюхи из «Эйфориона» для танцев и разврата заказаны на три часа ночи, после рабочего дня.

Вваливаются  К р е с т ь я н е — старый  М у ж и к  и  молодой  М у ж и ч о к, толкая перед собой огромный сноп соломы — за ними — деревенская  Д е в к а  с большим подносом в руках. На всех народные костюмы.

С к у р в и (сквозь сон). И никогда уж в бриджик не сыграть — никогда не провозгласить с напускной важностью: «три червы» или «контра», и уже не заглянуть на кофеек в «Италию», на сладких девочек, и на нее в том числе, не попялиться, не полистать уже «Курьерчик» в кроватке, и никогда, никогда больше не уснуть! Это страшно — у меня просто нервы не выдержат! — и ведь никто понять не хочет!

Никто его не слушает, все уставились на группу слева.

М у ж и к (запевает).

С дураком — о чем с ним говорить? — Пасть заткнуть и в угол посадить!

М у ж и ч о к (подхватывает, тыча в него указательным пальцем).

А захочет дурень что сказать — Дать по морде, но не дать болтать.

I  П о д м а с т е р ь е (стиснув зубы). Как бы вы чего не накаркали, хамье деревенское, строптивцы консервативные, мужички из народа так называемые. Или сами в морду захотели? Ааа-а?

М у ж и к («задорно»). Несмотря ни на что, мы глубоко убеждены в своей великой миссии: после падения дворянства и вылупившейся из него этой нашей уродливой канкрозной аристократии — той, что вырядилась в клеточку на а́глицкий манер...

К н я г и н я. Что за допотопные шуточки в стиле Боя и Слонимского! От них же тухлятиной разит, господа, как от рыбки в коцмыжевском станционном буфете. За дело, дряблое крестьянство — кичливое, спесивое!

М у ж и к. Ох, как бы ты, ваша светлость, не пожалела об этих своих словах, надменных и дерзких не ко времени.

К н я г и н я. Заткнись, хамская морда, не то меня вырвет от омерзения. Конечно, Лехонь бы не одобрил, как я выражаюсь, но он-то княгинюшек знает только по файв-о-клокам в МИДе! А я — вот такая, как я есть, такой и останусь, колыхать твою влянь посконную.

С а е т а н (властно). Хорош цапаться! Благодаря вам, мужички, псевдодворянской спесью развращенные, я вернул утраченные позиции и теперь заключу с вами поистине княжеский пакт. Я ваших крепостных свобод не отрицаю. Придется вам только создать добровольный общехоз, с ударением, разумеется, на последнем слоге...

М у ж и к (разводя руками). Мы тебя не понимаем, ваше степенство. Мы и так сюды пришли по доброй воле — поговорить как равный с равным: ведь как-никак, а — во саду ли в огороде, завсегда крестьянство в моде, — для штыка да палаша всяка морда хороша, — куй — не куй, из плуга не скуешь кольчугу — юх!

I  П о д м а с т е р ь е. Эх, отсталое племя — какая-то мужикофильская абракадабра — шляхетско-сенкевичевские перепевы. Они ишшо тока обла-араживаются — вот скандал-то: эдакий эволюционный рулет из первосортных анахронизмов.

М у ж и к. Я буду краток: мы пришли сюды с Хохо́лом — то ись с етим вот Соломенным Чехлом — Чучело́м из пьесы самого́ господина Выспянского, а его идеи как-никак даже фашисты хотели взять за основу своего оптимистического национал-метафизического учения о наслаждении жизнью и государством в целях самозащиты международной концентрации капитала, а также...

С а е т а н. Заглохни, хам, — по морде дам!

М у ж и к. Вы не дали мне закончить — вот и получился кровавый нонсенс а ля Виткаций. Знаем мы эту вашу критику... э, да что там! Споем-ка лучше — авось хоть нашу музыку поймут — а ну-ка:

Мы пришли сюды с Хохо́лом, С чистым сердцем нашим голым.

Д е в к а (выдвигается на передний план с подносом, на котором медленно пульсирует большое, как у тура, сердце — с часовым механизмом).

Мы гутарим по-выспянски — Не по-нонешне-смутьянски. Наша «девка босая»

(Говорит.) Я тока щас обулась для приличия, потому сами знаете, каково оно — босиком-то на́ людях, — гей! (Поет дальше.)

Будет мир спасать. Я — косарь, со мной коса, Мне косить — не спать.

I  П о д м а с т е р ь е. Архаичная символика! Босоногих девок у меня и так навалом — лучшие танцовщицы страны; с их ножками я волен делать все, что мне заблагорассудится.

К н я г и н я (резко вскакивает и сбрасывает с себя туфли и чулки; все смотрят и ждут). Самые красивые ноги на свете — у меня!!

С к у р в и (просыпаясь — треснулся башкой об пол). О, не говори так! О, зачем, зачем я заснул, несчастный! Пробудившись, я обречен терпеть все муки вновь! Может, я выражаюсь высокопарно, но мне-то уж нечего терять — я не боюсь даже быть смешным.

С а е т а н. Тихо вы там, отбросы общества! — тут дела поважнее ваших ног и ваших излияний. (Обращаясь к Мужичкам.) Ну, что дальше?

М у ж и ч о к. А ну-кась грянем хором! (Запевают хором.)

Ох ты, Боже ж ты, наш Боже, Нам кощунствовать негоже — Ох, кабы чего не вышло, Под лопатку всем вам дышло!

(Девке.) А ну-ка пой à tue-tête[95], девка босоногая, лишь временно обутая.

Д е в к а (верещит à tue-tête — во весь скрипучий голос).

Ох ты Боже ж ты, наш Боже, Нам кощунствовать негоже.

С т а р ы й  м у ж и к.

Эх, живем мы вхолостую — Дыры да заплаты. Кто бы нам в башку пустую. Ума вложил палату[96]! Ха-ха!

С а е т а н (страшным голосом). Вон отсюда, гнизды угорелые!

Все трое бросаются на мужиков и выталкивают их взашей. Те в панике бегут, бросив слева соломенный сноп: он постепенно оседает и падает. Слышны вопли, например, такие: Господи, помоги! Люди мира! Хрен ему в рыло! Батюшки-светы! Кой черт! О, Боже мой!! и т. п., без счета. Люди Саетана обрабатывают мужиков молча, тяжко сопя. Едва попав на авансцену, I Подмастерье орет, не обращая внимания на слова Саетана. Саетан неторопливо возвращается, покряхтывая.

Вот мы и решили крестьянский вопрос — гей!

I  П о д м а с т е р ь е (орет). А ну, на авансцену его, на авансцену! За дело! Публика не любит таких интермедий, хромо́лить ейный вшивый вкус.

I I  П о д м а с т е р ь е. Руби его! Мочи его! Пусть знает, старый гнус, зачем он жил! Страдалец, блюдра его фать!!

С а е т а н. Эк разожрались-то за мужицкий счет! Ну что, гнизды серые, значит, вы ни на йоту, ни на арагонскую хоту — по-буржуйски пишется «йо», а читается «хо», — господи, что я плету, несчастный, на краю гибели — так вы ни на эту самую зафурдыченную йоту не изменили своих гнусных намере... Ууууууу!!!

Получает по лбу топором от I Подмастерья и с воем падает на землю... Подмастерья и Княгиня укладывают его на бараний мешок (как в палате лордов), валявшийся с самого начала на переднем плане, черт его знает зачем. Они делают это, чтоб Саетан мог перед смертью свободно выговориться. Перед ним на столике (который стоял там же) на подносе дышит сердце.

К н я г и н я. Вот тут, тут его положите, говорю вам, чтобы он мог свободно изъясняться и достойно перед смертью опорожнить мозги.

Входит  Ф е р д у с е н к о.

Ф е р д у с е н к о (с чемоданом в руке). Сюда идет — просто напасть какая-то — ужасный сверхреволюционер, прямо какой-то гипер-работяга: наверняка один из тех, кто действительно правит миром, потому что с этими-то куклами (указывает на Сапожников) — просто комедь какая-то. У него бомба как котел, и фанат ручных целая связка: всем грозит, а на свою-то жизнь давно уж положил то, о чем, того-с, и говорить не принято, — но что же я хотел сказать...

К н я г и н я. Без глупых шуток, Фердусенко! Костюмы приготовил? Это сейчас главное...

Ф е р д у с е н к о. Ну а как же — только я не уверен, что мы все вот-вот не взлетим на воздух.

Ужасная поступь за сценой — у этого типа свинцовые подошвы.

Этот работяга — не какая-нибудь вам босоногая девка из Выспянского — это живой механизированный труп! Ницшеанский сверхчеловек родом — не из прусских юнкеров, а из пролетарской среды, которую отдельные ученые совершенно несправедливо считают клоакой человечества.

I I  П о д м а с т е р ь е (Фердусенке). А ты чего это в лакейской одежонке ходишь? Али не слыхал, что теперь свобода? А?

Ф е р д у с е н к о. Ээ! — лакей всегда лакеем останется— при таком ли режиме, при этаком ли! Wsio rawno, по-русски говоря! Так и так взлетим на воздух!

С к у р в и. Вы-то можете сбежать — вы люди свободные. А я что? — наполовину пёс, наполовину сам не знаю — что! Так и с ума сойти недолго — ну да чему быть, того не миновать.

I  П о д м а с т е р ь е. Не успеешь, сучий зоб! Мы тебе устроим такую шьтюку, что ты загнешься от ненасытности еще при шквальном ветерке — по морской шкале Бофорта, балла за два до циклона безумия, а безумие было бы блаженством в сравненье с тем, что тебя ожидает.

С к у р в и (скулит, потом воет). Это всё дурацкие фразы, одна-а-ако... Мммм-ууу! Ау-ауууу-уу! Как больно знать, что жизнь не удалась. Я хотел умереть от истощения — прекрасным старцем, величавым до кончиков ногтей на пальцах ног. О жизнь, теперь я знаю — ты одна! Набухли вены толще рук от этих мерзких мук. Только теперь я понимаю тех несчастных, которых обрекал на смерть и заточение, — звучит банально, но это так.

С т р а ш н ы й  Г и п е р - Р а б о т я г а (входит; бомба в руке). Я — один из НИХ. (Со страшным нажимом на «них»). Я — Олеандр Пузырькевич, тот самый, которого ты, прокурор Скурви, приговорил к пожизненному. Но я смылся, причем играючи. Знаю, мерзко сказано, но языка назад не повернешь. Помнишь, что ты со мной вытворял, садист? Всё во мне раздроблено и разворочено — ты понял? То есть буквально всё: размозжены все гены и гаметы. Но дух мой составляет единое целое с моим телом, он сработан из добротной материи, закален в нержавеющей, громокипящей и шипящей стали. Вот у меня бомба — самая взрывоопасная из всех сверхвзрывчатых бомб на свете, и разговор у нас будет короткий как молния. Нате вам — за детушек моих любимых, так и не рождённых — ты погубил их, кафр неверный! Я так хотел иметь детей! Неприятные речи? — ну ничего.

С силой швыряет бомбу наземь. Все с воем бросаются на пол — все, кроме Саетана. Скурви заходится писком от дикого страха. Бомба не взрывается. Гипер-Работяга поднимает ее и говорит.

Кретины — это ж термос такой, для чая. (Наливает из бомбы в крышечку и пьет.) Но в военное время его легко превратить в бомбу. Такая, знаете ли, символическая шуточка в старинном стиле — чертовски скучная — от скуки аж кости ломит. Ха-ха-ха! Это хорошо, что вы чуток струхнули, — нам ни к чему совсем уж неустрашимые смельчаки на псевдоверховных должностях, а главное — нам эдакие не по ндраву. Хотя — черт знает, зачем я говорю с таким напором. Может, меня вообще не существует? (Тишина.)

С а е т а н (не оборачиваясь, публике). Теперича мое слово. Здорово, что вы меня укокошили, — теперь уж мне бояться нечего, я правду скажу: только одна хорошая штука есть на свете — индивидуальное существование в достаточных материальных условиях. (А те всё лежат и лежат.) Пожрать, почитать, пофуярить, позвездеть — и на боковую. И больше ничего — вот вам, сучье рыло, и вся ихняя пикническая философия. Ведь что они такое — эти так называемые великие общественные идеи? Именно то, что я только что сказал, но касательно не только меня, а — всех. О времени, которое можно на популярное чтиво потратить, я не говорю. И маленький человек способен стать великим, если делает что-то для кого-то, отрекается от себя ради других — когда уже иначе не может. В этом-то и состоит величие «для всех» — в кавычках, поскольку истинное величие проявляется только в индивидуальном напряжении, когда ты властен согнуть реальность — мыслью или волей, собранной в кулак, — все равно чем. Так ничтожное преображается в великое через общность. — Однако к едрене-фене все эти рассуждения.

Подходит Гипер-Работяга и из огромного кольта палит ему прямо в ухо. Саетан продолжает говорить как ни в чем не бывало. Все поднимаются, только Фердусенко лежит, как прежде.

И все это независимо от того, склонен ли индивидуум к фантазиям, маньяк ли он своей «непревзойденной» мощи, или он слуга и выразитель интересов какого-нибудь класса — неважно, какого.

Г и п е р - Р а б о т я г а (Саетану). «Сильвер, ты ведешь двойную игру» — как сказал вышеупомянутому Том Морган.

К н я г и н я (весьма аристократично). Вставай, Фердусенко — это только символика — планиметрия бараньих мозгов, это только убийственный силлогизм — энтимема, одна из посылок которой — человечество — уже катится в тартарары. О да, это всего лишь...

Фердусенко встает, извлекает из чемодана великолепный наряд «райской птицы» и начинает переодевать Княгиню: снимает с нее жакет, тем самым прервав ее дальнейшие откровения, а потом надевает все эти вещи. Голыми остаются только ноги — над ними короткая зеленая юбочка, гораздо выше колен. В процессе одевания Княгиня понемногу умолкает, еще какое-то время что-то невнятно бормоча.

Бргмлбомксикартчнаго...

Г и п е р - Р а б о т я г а. Сейчас начнется малоприятная комедия, но по нынешним временам — неизбежная; мне, по моей житейской невинности, смотреть на такое не пристало. Я как-никак четырнадцать лет просидел в одиночке, изучая политэкономию. (Подмастерьям.) Вы оба случайно имеете подлое счастье или несчастье быть типичными представителями кустарей-середняков и в качестве таковых будете играть роль декоративной выборной власти. Вам крупно повезло: вместе с представителями иностранных, временно фашистских государств — это последняя маска агонизирующего капитала в самых затхлых уголках земли, — так вот, вместе с ними вы будете пожирать лангуст и всякие прочие фендербобели. Потом пуля в лоб, смерть без пыток — а это, согласитесь, немало. И девок сколько влезет — ваши мозги меня не интересуют. (Свистит в два пальца.)

Входит  Г н э м б о н  П у ч и м о р д а — чудовищный тюлень с «шляхетскими» усами — как пучки соломы. Одет в национальный костюм из золотой парчи. Рот кривой, кривая сабля, две ручищи, словно грабли, шапка вроде дирижабля, с пером, красные полусапожки, глазки — круглые, как плошки.

Г н э м б о н  П у ч и м о р д а (произносит предшествующую ремарку).

Рот кривой, кривая сабля, Две ручищи, словно грабли, Шапка вроде дирижабля, с пером, Красные полусапожки, Глазки — круглые, как плошки.

(Корчит жуткие рожи.)

Я такой, каков я есть, Обликов моих не счесть. Соцьялист или фашист — Копошусь, как в сыре глист. Бабник или педераст — Я такой и есть как раз[97].

Г и п е р - Р а б о т я г а. Прямо зараза какая-то с этим Выспянским. Садись-ка, старый дуралей, поближе к трупу — это Великий Святой последней мировой революции, он открыл нам путь к Высшему Закону, возглавив средние слои пролетариата. Он, этот бедный старый идиот, должен быть вечно живым, то есть: мертвым символом, который заменит нам ваших святых и все ваши мифы, господа фашиствующие псевдохристиане, — мифы, превратившие комедию ваших псевдовер в нечто отвратительное сверх всякой меры.

П у ч и м о р д а. Да — правды нет — это доказал еще Хвистек.

Г и п е р - Р а б о т я г а. Молчи, дубина стоеросовая. Биологический материализм — вершина диалектического мировоззрения — не терпит мифов и загадок второй и третьей степени. Есть только одна тайна: тайна живого существа и того, как в темной, злой, безбожной бесконечности оно составляется из других, несамостоятельных созданий.

П у ч и м о р д а. Так — нельзя ли хоть иногда без этих лекций?

Г и п е р - Р а б о т я г а (холодно). Нет. Здесь, на этом клочке земли все ясно, как у фарнезийского быка, и пребудет таким до скончания века. (Выходит, но в конечном счете не выходит: оборачивается и продолжает.) Гнэмбон принял нашу веру по убеждению — надо же как-то использовать это старое гуано. Ничто не должно пропадать зазря — как у той пресловутой мерзко называемой «рачительной хозяйки», — брррр. В этом новизна нашей революции. Генерал Пучиморда — необходимый декоративный элемент этого шаржа на земные правительства.

С а е т а н. Вот на это и надеются всякие подонки, которые рассчитывают выжить после переворота. А как же я? Я, значит, должен погибнуть, а эти мерзавцы жить останутся?

Г и п е р - Р а б о т я г а. Такой уж вы, Саетан, несчастный билет вытянули. Раз навсегда следует уразуметь, что никакой справедливости нет и быть не может — хорошо еще, что есть статистика — и на том спасибо.

Еще раз бьет в него из кольта. Гнэмбон плюхается на бараний мешок рядом с Саетаном, тупо тараща на публику налитые кровью зенки. Это должна быть маска — живой человек такого изобразить не может. Фердусенко, который, между тем, закончил одевать Княгиню, срывает с него колпак и подбитый мехом плащик и обряжает его, сидящего, в лохмотья и кепку. Лохмотья покрыты белыми точками.

П у ч и м о р д а. А что это такое — беленькое?

Ф е р д у с е н к о. Вши.

С к у р в и (прямо-таки захлебываясь воем). Я просто захлебываюсь воем, вспоминая былую счастливую жизнь. А может, Олеандр, ты б хоть разок для меня что-нибудь сделал? Месть благородного мечтателя! — тебе не нравится такая роль? Спусти меня с цепи! Дай ты мне по чести-по совести потрудиться где-нибудь в грязном захолустье, на любых зловонных задворках жизни. Я согласен быть последним нищим среди сапожников — ради общественного равновесия я заменю собой обоих этих опижамленных мошенников. (Указывает лапой на Подмастерьев.) Только бы не это — не то, что они мне готовят, эти прохвосты — извыться насмерть от похоти и тоски! Ав! Ав! А-уууу! (Воет и рыдает.)

Г и п е р - Р а б о т я г а. Нет уж, Скурви — что означает «скорбу́т», или «цинга» — имя твое символично. Ты был гангреной человечества, изнуренного затяжным обменом духа — по аналогии с обменом веществ: и ты подохнешь именно так. (Подмастерьям.) Ну ладно, вы покамест управляйте, властвуйте — а мы пойдем разрабатывать технический аппарат, аппаратуру и структуру динамизма и равновесия сил этой власти. Гуд бай!

П у ч и м о р д а (понуро). До свиданья. Скучно все это, как сцена ревности, как курсы переподготовки, как попреки старой тетки или, обобщая, — как переподготовка старой тетки, с попреками по поводу ее сцен ревности к другой.

Снова появляется транспарант с надписью «СКУКА».

Г и п е р - Р а б о т я г а (медленно). Строжа́возза́преща́ется! (Выходит, страшно грохоча свинцовыми подошвами.)

I  П о д м а с т е р ь е (иронически). Строжавоззапрещается! — Слыханное ли дело? И-эх!!! Всем — готовьсь к ночной оргии! Это всё враки, что он здесь наплел. Нет никакой бесконечной иерархической лестницы тайной власти! (Княгине.) Одевайся, ты, бамфлондрыга раскоряченная!

I I  П о д м а с т е р ь е. Враки не враки, а все-таки убить его вам не под силу. Это еще не известно, как оно там на самом деле с этими тайными правительствами. Кто знает, может, они есть и в нашей общественной структу...

I  П о д м а с т е р ь е. Что есть — то и хорошо! Не думать ни о чем — смерть от ужаса перед самим собой караулит за каждым углом. Фикция не фикция, а мы проживем эту представительно-властную жизнь не так, как они, — неважно, есть они или их в помине нет. А скучно не будет, потому как идеи, при отсутствии в народе интереса к философии, вконец повымирали. И-эх! Инда тоска берет, пёсья кость! Надо бы напиться. А уж как припрутся девки с буржуйских танцулек да эфебы из Предместья Непокорных Оборванцев, да еще тот кошмарный злодей, что обитает на улице Шимановского 17, тут уж мы поразвлечемся-покуражимся, забудемся от этих страшных буден на пределе абсурда, который тем страшней, что вполне нами осознан. О Боже, Боже! (Падает наземь, рыдая.) Рыдаю как нанялся, а отчего — и сам не пойму, Такая вот буржуйская мировая скорбь, вельтшмерц[98], псюрва его танго танцевала. Храл я на все это.

Княгиня тоже начинает всхлипывать. Скурви воет протяжно и жалобно.

С а е т а н (вскакивает так внезапно, что даже Пучиморда глянул на него с удивлением). А что? Я так вскочил, что даже вы, бывшая Пучиморда, глянули на меня с некоторым удивлением. Но у меня есть цель. И, как писал Выспянский, не обслюнявьте мне собачьими слезами последних мгновений на этой земле. Я уверовал в метемпсихоз, именно в «тем», а не в «там». Я уверовал в этот великий ТАМ-ТАМ, и теперь мне смерть нипочем — я и так не сумел бы здесь больше жить.

I  П о д м а с т е р ь е. Проклятый старикашка! Ничем его не добить. Измарался в болтовне, как молодой кобель в экскрементах. Une sorte de Raspiutę[99], не иначе.

С а е т а н. Тихо, сучий ты окорок. Ну никакого чувства юмора, никакой фантазии, пся крев!

Вместо прежнего транспаранта появляется новый с надписью: «СКУКА СМЕРТНАЯ».

Как ни крути, а мир прекрасен и неисчерпаем. Всякий стебелек, любое мельчайшее говнецо, дающее жизнь растеньицам, каждый плевочек в летний полдень, грозовые облака с востока, когда они дрейфуют то влево, то вправо над громоздящимися застывшими всплесками ярости мертвой материи, что по сути своей живою быть не может...

П у ч и м о р д а. Хватит — или я сблевну.

С а е т а н. Ладно — но как же мне тяжко! Ведь каждая травинка...

П у ч и м о р д а. Шлюс! — морду разобью, Господь свидетель. (Остальным.) Я ревизор декоративно-пропагандических зрелищ. Генеральная репетиция вот-вот начнется — танцовщицы будут к трем.

I  П о д м а с т е р ь е. Ах так? Как бы не так. Но если так — ничего не поделать. Пальцем дырку в небе не заткнешь. Пипкой пурву до последней глятвы не додраишь.

I I  П о д м а с т е р ь е. О, как он меня измотал этим своим сюрреальным матом, начисто лишенным динамических напряжений.

I  П о д м а с т е р ь е. Ой, да-да — как все это страшно, вы бледно-прозрачного понятия не имеете. Ужас, тоска, похмелье и гнусные предчувствия. Как-то все незаметно развалилось. (Напевает.) «Jamszczyk nie goni łoszadiej, nam niekuda bolsze spieszyt».

Оба помогают Фердусенке до конца обрядить Княгиню, чей костюм выглядит так: ноги босые, голые до колен. Короткая зеленая юбочка, сквозь которую просвечивают алые панталоны. Зеленые крылья летучей мыши. Декольте до пупа. На голове огромная треуголка en bataille[100] с громадным плюмажем из белых и зеленых перьев. По мере одевания Скурви воет все громче и начинает страшно рваться на цепи, уже совершенно по-собачьи, но не переставая курить.

П у ч и м о р д а. Да не рвись ты так, мой бывший министр, — ведь если ты с цепи сорвешься, я ж тебя пристрелю, как настоящую собаку. Теперь я у них на службе — я совсем не тот, что прежде. Пойми это, милок, и успокойся. Силой внутренней трансформации я решил до конца жизни питаться пулярками, лангустами, вермуями и прочими папавердами, непременно запивая их эксклюзивным фурфоном. Я циник до грязи между пальцами ног — совершенно перестал мыться и воняю, как тухлая флёндра. Храть я хотел на все.

I  П о д м а с т е р ь е. А что такое храть?

П у ч и м о р д а. Храть означает не что иное, как облить что-то чем-нибудь очень вонючим. Однокоренное существительное служит для определения смердящей своры людей компромисса, например — демократов: эта храть, у этой храти, этой хратью и так далее.

I I  П о д м а с т е р ь е. Давайте-ка лучше сделаем так: если он в четверть часа сошьёт сапог — запустим его к ней, а нет — нехай извоется насмерть.

П у ч и м о р д а. Ладно, Ендрек, — валяйте! — Это удовлетворит остатки моего угасающего интереса к садизму — сам-то я уже ничего не могу. (Тихо и стыдливо плачет.) И вот я плачу тихо и стыдливо — я одинок, хотя еще недавно был я дик и жесток... Даже приличный стишок и то сочинить не могу! Тувим-то покойник, этот в конце концов завсегда утешался — что бы с ним ни делали! А что я? — сирота. Не знаю даже, кто я такой — в политическом смысле, конечно! А в жизни я — поборник раздрыгульства и гныпальства: то бишь раздрызганности в сочетании с балагурством и гульбой, а также гнусной привычки пальцем расковыривать то, за что следует браться, только имея точные инструменты, я старый шут, шутом я и останусь до самой своей захраной смерти.

I I  П о д м а с т е р ь е (который внимательно его слушал). Поищу-ка я среди рухляди наши старые инструменты — что остались якобы от той нашей первой революционной сапожной мастерской, гладь ее в копыто! Когда ж это было, а? Как тогда все было хорошо! Это ж должно храниться в музее, на вечную память. (Копается в рухляди.) Ну и горазд же ты болтать, Пучимордушка — может, похлеще нашего Саетанчика. Так мы и будем зваться: саетанцы, а может — медувальцы — в честь того Медувала, что с Беатом Чёрным Печным сражался и, завидев его, скулил, — что за гиль? Али мне кошмар какой приснился? (Обращается к Скурви, который скулит на всю мастерскую, как последний Скули-Ага). Да на уж, ты, Скули-Ага — держи и шей давай!

Скурви горячечно хватается за работу, в спешке нервно скуля. Скулит все громче, и все больше полового нетерпения «сквозит» в его движениях, ничего у него не выходит, все валится их рук по причине наивысшего (для него) эрогносеологического возбуждения.

С к у р в и. Все больше полового нетерпения «сквозит» в моих движениях окошаченного псевдобуржуя. С эрогносеологической точки зрения, я почти святой — турецкий святой, добавлю приличия ради, поскольку я — смердящий трусостью старый трус. Я вынужден скулить — иначе лопну, как воздушный шарик. О Боже! — ах, за что? ах — эх — хотя не все равно, за что? — дорваться б хоть разок, а там и сдохнуть в одночасье. Мне что-то так хрувённо, как никогда! Ирина, Ирина — ты для меня уже просто символ жизни, более того: ты — само бытие в метафизическом смысле! — чего я никогда не понимал. Живем только раз — и всё коту под хвост! Вот что они, приговоренные мной, ощущали, когда веревка... О Боже! Скулю, как пес на привязи, когда он видит, но главное — чует запах пролетающей мимо так называемой — и справедливо — собачьей свадьбы вольных, счастливых псов! (В точности так и скулит.) Сучка впереди — а господа кобели за ней, за той единственной! За черной или абрикосовой сучарой — о Боже, Боже!

С а е т а н. Неужто напоследок так ничего и не произойдет в моей жизни? Неужто я так и умру в этой канцерогенной комедии, глядя, как прежние рогатые бонзы заживо разлагаются в блевотине пустословия? Все мы — рак на теле общества, в его переходной фазе от размельченного, раздробленного многообразия к подлинному социальному континууму, в котором язвы отдельных индивидуумов сольются в одну великую plaque muqueuse[101] абсолютного совершенства всеобщего организма. Язвы болят и горят — это, можно сказать, их профессия — пускай их болят и горят! Короста будет уже только сладостно свербеть, пока не отпадет. Ну и пусть.

П у ч и м о р д а. Иисусе Назаретский — а этот шпарит свой предсмертный спич безо всякого к нам сострадания!

Княгиня танцует.

С а е т а н. Вы что же думали — мы из другого теста сделаны? Редкая линия монадологов, точнее монадистов — от греческих гилозоистов, через Джордано Бруно, Лейбница, Ренувье, Уилдона Карра — эти последние не шибко мозговиты, а что делать, — далее через Виткациуса и Котарбинского с его новой версией витального реизма а ля Дидро, а не а ля барон фон Гольбах — этот проклятый демон материализма все желал свести к бильярдной теории мертвой материи, — так вот, линия эта ведет нас к абсолютной истине, а там не за горами и диалектический материализм — борьба чудовищ, результат которой — бытие, и так далее, и так далее...

Нечленораздельный лепет Саетана продолжается. Нарастают признаки общего безумного нетерпения. Скурви неистовствует на цепи. Отныне все, что говорится, звучит на фоне невнятного бормотанья Саетана, который болтает без умолку. Там, где из потока звуков выделяются отдельные фразы, это будет оговорено особо.

С к у р в и (скуля). Не могу я сшить этих трижды проблеванных в астрале сапожищ. Из-за этого гнусного эротического возбуждения все у меня из рук валится. Больше не могу, и знаю, что не могу, но отчаянно продолжаю трепыхаться: гибель от неутолимой жажды — слишком уж пошлое бахвальство злого рока, брагадо́тье какое-то — просто черт-те что! О — теперь я знаю, что такое сапоги, что такое женщина, жизнь, наука, искусство, социальные проблемы, — я все познал, но слишком поздно! Упивайтесь моими страданиями, вампиры!

Начинает выть — уже не скулить, а просто выть, дико и жалобно, а Саетан все продолжает невнятно бубнить, невообразимо жестикулируя.

I I  П о д м а с т е р ь е (одевая Княгиню). Абсолютная пустота — меня уже ничто не радует.

I  П о д м а с т е р ь е. И меня тоже. Что-то в нас надломилось, и уже непонятно — зачем жить.

К н я г и н я. Вы добились, чего хотели, — того, что мы, аристократы, чувствовали всегда. Вы теперь тоже — по ту сторону, радуйтесь.

С а е т а н (из непрерывного бормотанья всплывают отдельные слова и тут же тонут). ...так всегда на вершинах, братья, угрюмые братья мои по абсолютной пустоте...

В глубине вдруг вырастает красный пьедестал — это может быть прокурорская кафедра из II действия.

К н я г и н я. На пьедестал, на пьедестал меня скорее! Жить не могу без пьедестала! (Поет.)

Помогите мне, помогите добраться до пьедестала, Держите меня, держите, пока рожей в грязь не упала!

Триумфально взбегает на пьедестал и застывает там, растопырив свои нетопырьи крылья в зареве бенгальских и обычных огней, которые неведомо каким чудом вспыхивают справа и слева. Скурви взвыл как черт знает кто.

Вот я стою в хвале и славе на перевале гибнущих миров!

С к у р в и. Простите меня, товарищи по злосчастью, — и не юродствуйте — мы все страдаем — говорю это не себе в утешенье, просто так оно и есть — простите меня, что я взвыл, как черт-те кто, позоря род людской, но я в самом деле уж больше не мог — ну не мог я больше, и баста! (После судорожных попыток согнуть и прошить толстый кусок кожи — все это сидя — отбрасывает сапог. Ползет на карачках по направлению к Княгине, завывая все ужасней. Цепь сдерживает его, и тут вой Скурви становится просто невыносим.)

П у ч и м о р д а. Невозможно больше выносить этот плоский бардаган (себе под нос) ...как будто бывают выпуклые. Какие там к черту мои выкрутасы — фашистские-то они были фашистские, да уж зато высокой пробы. И это — мой бывший министр! Так то ж, пане, шкандал — как говорят в Малопольше — предел упадка! Но как-то оно так убедительно звучит, что мне уж и самому охота того...

Саетан все бормочет.

О, дьявол! — А если я не выдержу и тоже поддамся чарам этой кошмарной бабищи? (После паузы.) Ну, в конце концов ничего страшного — корона с головы не свалится. Полнейший цинизм — то-то и оно! (Слезает с мешка и раскачивается, повернувшись лицом к публике.)

С а е т а н. ...качайся, качайся, а вот разок влипнешь, так уже от этого внутреннего подобострастия не избавишься...

К н я г и н я (взывает «nieistowym», по-русски говоря, голосом). Я взываю к вам «nieistowym», как говорят русские — нет такого польского слова,— голосом всех моих суперпотрохов, всех лабиринтов грядущего и утраченного духа, зародившегося в этих потрохах: покоритесь символу сверхматеринства: вселенской матки — или лучше — суперпанбабиархата! Этот заряд может взорваться в любую секунду. Ведь вы, мужчины, способны сгнить мгновенно — вдруг превратиться в лужицу жидкого гноя, подобно господину Вальдемару из новеляки этого горемыки Эдгара По. Вы опикничены: ваши шизоиды вымирают — наши шизоидки размножаются. Вот доказательство: Саетану раскроили череп, а Пучиморда будет жрать лангуст, — это символ — пока навеки не закроет уст, его курдюк не будет пуст. Мужики обабились — женщины en masse[102] омужичились. Настанет время, и, быть может, мы начнем делиться как клетки, не осознавая метафизической странности Бытия! Ура! Ура! Ура!

Подмастерья и Пучиморда ползут к ней на брюхе. Скурви как бешеный рвется на цепи среди гомона и стонов. Саетан встает и тоже поворачивается к ней, словно какой-то Вернигора. Внезапно Соломенный Сноп — Хохол поднимается и замирает. Ползущие несколько озадачены: все, не вставая, оглядываются.

П у ч и м о р д а (трубным голосом). Мы, ползущие, озадачены тем, что Чучело́ поднялось. Что бы это значило? Дело не в том, что́ это значит в действительности — раздолби ее в сук — но что это значит в ином, пророческом, поствыспянском измерении, в смысле храма национальной идеи, населенного толпами шарлатанов и лжетолкователей писания, а они ведь ничего не значат, это лишь художественный вымысел: динамическое напряжение во имя Чистой Формы в театре — или я чушь несу?

Соломенный Сноп подходит к пьедесталу. С него опадает солома, и выясняется, что это — Бубек, хлыщ во фраке. Звучит танго.

Б у б е к - Х о х о л (заигрывая с Княгиней). Ирина Всеволодовна, вы так пленительно смеетесь — пойдемте у дансинг — уж этот миг не возвратится, — какое чарующее, сказочное танго́ — мое слово дадено...

С а е т а н. Я словно Вернигора какой — долгонько еще буду бормотать. Да где там. Вот встает всебабьё — чуток на русский лад, с удареньицем на последний гласненький звучок — мне это даже нравится — и если я не отдам концы, прежде чем опустится ночь и занавес, все равно знайте: еще до того, как вы возьмете в гардеробе свои захраные польта, меня уже в живых не будет — я в этом больше чем уверен. У меня в башке дыра от топора, пробоины в брюхе, и в мозгах, и в ухе... (Продолжает бессвязно бормотать.)

П у ч и м о р д а. И меня одолела, трамбовать ее в ноздрю! Ничего не поделать! (Ползет.)

С а е т а н (восторженно — Княгине). Всебабьё! Всебабьё! Ох, вот это самоё! Так твою — вот это да! И — туда, туда, туда! Это ж — там. Да что я, хам?! Я идеальный правитель, я мумия трупа — как всё глупо! Ох и трахнула фатальная судьба, растудыть твою — ах, ах, вот это да! (Падает на землю и ползет к Княгине. Сердце на подносе продолжает биться.)

С к у р в и (дико и исступленно воет, после чего умолкает и в абсолютной, словно застывшей тишине молвит). Теперь можно и прогуляться — в такое время они нас совершенно не понимают.

С т р а ш н ы й  Г о л о с (из гиперсупрамегафонопомпы). ОНИ МОГУТ ВСЁ!

На Княгиню откуда-то сверху опускается проволочная клетка, как для попугая — Княгиня складывает крылышки.

С к у р в и (в наступившей тишине). О — как сердце болит — это от папирос — коронарные сосуды разрушены — rotten bulkheads[103] —

Физическая боль? — Ты болям всем король! —

(Короткая пауза.)

Тьфу — все к чёрту! Лопнула аорта!

(Умирает и падает, растянув цепь во всю длину.)

Издалека доносится танго.

К н я г и н я. Извылся от вожделенья насмерть. Не выдержало сердце и кое-что другое. Бери меня кто хочет — бери любой! О, как я возбуждена его смертью от ненасытного вожделения — это просто за гранью воображения! Только женщина способна...

Входят  Д в о е  в костюмах английского покроя. Княгиня по-прежнему бормочет что-то непонятное. Они тихо беседуют, пересекая сцену справа налево. Равнодушно переступают через пресмыкающихся на полу и через труп прокурора. За ними шаг в шаг следует  Г и п е р - Р а б о т я г а  с медным термосом в руке.

П е р в ы й  Г о с п о д и н: Т о в а р и щ  И к с. Так что, послушайте, товарищ Абрамовский, я временно воздерживаюсь от полной национализации сельхозпромышленности — однако вовсе не в порядке компромисса...

В т о р о й  Г о с п о д и н: Т о в а р и щ  А б р а м о в с к и й. Разумеется, идеологическое освещение этого факта должно быть таким, чтоб им пришлось понять: это только и исключительно временная отсрочка...

Бормотание Княгини на миг становится членораздельным.

К н я г и н я. ...из матриархата ультрагиперконструкции, подобно цветку трансцендентального лотоса, я нисхожу меж лопаток Божества...

Т о в а р и щ  И к с. Накройте-ка эту обезьяну — как попугая — каким-нибудь полотнищем. Довольно уже щебетать и стрекотать. К лебедям этот матриархат.

Страшный Гипер-Работяга подбегает и набрасывает на клетку красное полотнище, которое Фердусенко достал из чемодана.

Итак, послушайте, товарищ Абрамовский: главное — удержаться на грани отчаяния... Компромисс лишь в той мере, в какой он абсолютно необходим — понимаете: аб-со-лют-но. Может, когда-нибудь и наступит матриархат, однако не следует прежде времени накалять страсти.

Т о в а р и щ  А б р а м о в с к и й. Ну безусловно. Жаль только, что мы сами не можем стать автоматами. После заседания захватим эту обезьяну с собой. (Указывает на Княгиню, только ноги которой видны из-под полотнища).

Т о в а р и щ  И к с (потягивается и зевает). Ладно — можем и вместе. Нужен же мне какой-то детант — разрядочка. Что-то я последнее время уработался в лоск.

Падает железный занавес — внезапный, как удар грома.

С т р а ш н ы й  Г о л о с.

Нужен вкус и нужен такт, Чтоб закончить третий акт. Это не мираж — а факт.

Конец действия третьего, и последнего

Сапожники. Научная пьеса с «куплетами» в трёх действиях.

Szewcy. Naukowa sztuka ze «śpiewkami» w trzech aktach.

1927—1934. Опубликована в 1948. Поставлена в 1957. Поставлена и в России (московский театр «У Никитских ворот», 1990). Публикуемый перевод, послуживший основой постановки, содержит стихотворные фрагменты в вольном переложении В. Бурякова (с.295, 296, 318, 326, 336, 340-341 настоящего издания).

Стефан Шуман (1889—1972) — врач, психолог, философ. Профессор Ягеллонского университета, автор, в частности, трудов о восприятии искусства, творческой психологии, воздействии галлюциногенов на психику. Близкий друг Виткевича, неутомимый пропагандист его творчества, написавший о нем ряд статей.

товарищ Абрамовский. Фамилия намекает на реальную фигуру: Эдвард Юзеф Абрамовский (1868—1918) — социопсихолог и общественный деятель; сторонник анархизма и «нравственной революции». К закопанскому кружку единомышленников Абрамовского был близок отец Виткевича.

Загорская, Стефания (1889—1961) — писательница, историк искусств. Читала воскресные публичные лекции в варшавском Свободном польском университете. Полемизировала с Виткевичем на эстетические темы, но защищала его от недобросовестных нападок. После смерти Виткевича опубликовала обширный очерк его творчества.

маркиза де Бринвийер — Мария Магдалина Д’Обрэ (1630—1676) — знаменитая отравительница. Сожжена на костре.

пани Монсёркова — нарицательное обозначение невежественной мещанки, претендующей на образованность.

Корнелиус, Ганс (1863—1947) — немецкий философ, стремившийся в «гносеологическом эмпиризме» соединить позитивизм с неокантианством. Виткевич, с юности хранивший пиетет к работам Корнелиуса, в 30-е годы вел с ним оживленную переписку. В 1937 Корнелиус посетил Виткевича в Закопане.

Кароль Шимановский (1882—1937) — композитор и пианист. С ранней юности был дружен с Виткевичем; посвятил ему свою I сонату c-moll, намеревался писать музыку к пьесе «Сумасшедший и монахиня». Виткевич посвятил Шимановскому драму «Новое Освобождение». ...похороненный недавно на Вавеле, а не на Скалке... Черный юмор; в годы создания пьесы Шимановский был жив-здоров. Вавель — замок в Кракове, место погребения королей. Скалка — монастырь, там же мемориальное кладбище деятелей культуры.

Сквара, Казимеж — модельер, держал в 20-е — 30-е годы магазин одежды в центре Варшавы.

«девка босая» — знак-отсылка к третьему акту драмы С. Выспянского «Освобождение»: ее ключами обездоленные отомкнут врата свободы.

«О французы, не угас он...» — травестия «Варшавянки» К. Делавиня, ставшей в переводе на польский патриотическим гимном повстанцев 1831 года.

Эмиль Брайтер (1886—1943) — адвокат, критик, суровый оппонент Виткевича. Отдавая должное его «театральному инстинкту», теорию считал «намеренно запутанной». Виткевич, в свою очередь, уличал Брайтера в невежестве. Их связывала дружба, но острая полемика привела в конечном счете к разрыву отношений.

«О, гряди же, юный век...» — строка их стихотворения «Русалки» поэта-романтика Ю. Б. Залевского.

«И не понять, что будет завтра...» — строка из «Вакхической песни» Лоренцо Медичи (общеизвестен перевод Е. Солоновича: «В день грядущий веры нет...»).

Слонимский, Антоний (1895—1976) — поэт, участник литературной группы «Скамандр» (куда входили также Ю. Тувим, Я. Ивашкевич, Я. Лехонь). Под псевдонимом «И. Поляткевич-Блеф» поместил написанное совместно с Ю. Тувимом стихотворение «Хипон» в газете Виткевича «Лакмусовая бумажка». Завзятый оппонент Виткевича в дискуссии о сущности и смысле искусства: высокомерно критиковал его творчество и теории с либерально-прагматистских позиций; тот жестко возражал. В конце концов Виткевич, некогда друживший со Слонимским, прекратил отношения с ним.

Лехонь, Ян (1899—1956) — поэт. Жестко, негативистски полемизировал с Виткевичем-художником и драматургом; рецензируя роман «Ненасытимость», характеризовал его как «отталкивающий», столь же хлестко отзывался о драмах.

не обслюнявьте мне собачьими слезами... — аллюзия на стихотворение С. Выспянского: «Пускай никто из вас не плачет / над гробом, — лишь моя жена. / Не жду я ваших слез собачьих, / мне жалость ваша не нужна» (перевод В. Левика).

Тувим-то покойник... О Ю. Тувиме, добром знакомом Виткевича, говорится — в духе черного юмора — как об умершем.

Тадеуш Котарбинский (1886—1981) — философ, логик. Автор номиналистской концепции «реизма», с которой полемизировал Виткевич. Котарбинский ценил Виткевича как самобытного мыслителя, «солиста культуры», однако полагал, что как художник он создал лишь «эмбрионы произведений».

Вернигора — легендарный запорожский казак, лирник-прорицатель. Выведен как символический образ предсказателя судеб польского народа в «Серебряном сне Саломеи» Ю. Словацкого и «Свадьбе» С. Выспянского.